

Алексей БОСЕНКО

ВРЕМЯ ПРЕДАТЕЛЕЙ (Век воли не видеть)

Только об избыточном можно сказать лишнее. «Полнота времен», делающая время ничтожным и никчемным, — буквально, дело Прошлого. Нынче ничтожество человека порождает его унижение, уничтожение самого человеческого. Он уже был и «одномерным» у Г. Маркузе, «человеком без свойств» у Р. Музиля, «человеком без содержания» у Дж. Агамбена, а у Т.-С. Элиота «Полые люди» — к нему (к ним) пристают любые оттенки и любая дрянь в формальном многообразии, пока он не обретет собственно человеческую универсальность и не изменятся те отношения, которые будут в ансамбле, ансамблем его сущности. Ведь и негативные отношения могут быть переосуществлены: ярость, ненависть, одержимость не всегда плохи. Только предательство, пошлость и мелочность, жадность, алчность... — есть некоторые черты, которые при любых обстоятельствах, представляют абсолютное зло, без диалектикообразных вывертов, коими всегда есть соблазн забавляться, упиваясь собственной виртуозностью.

Избыточное становится несбыточным в наше тощее (тошное) избитое время, когда хлебом не корми — дай понуждаться, наслаждаясь своей никчемностью и униженностью. Чем возвышеннее идеал, тем униженнее человек. Бывало такое. Но никогда не бывало, чтобы предательство становилось целью и смыслом жизни. В этом и уникальность нашего «повсякдення» и неповторимость современности. Бывает время героев (хотя «несчастно время, нуждающееся в героях»), наступило время предателей. А они во все времена свирепее всех. Лютость их от того, что вынуждены оправдываться. И оправдываться насильственно. Теперь они «хочут», чтобы их еще и любили; о понимании, «просто поговорить» и оправдании речь уже не идет.

И это не сезонные смены моды. Предательство тотальное и никогда не бывалое. (Не о позоре, когда руководство сдает страну без единого выстрела. Это не обсуждается, крыть нечем, даже матом, — Гитлер и тот застрелился, — а о повальном предательстве, о подлости, возведенной в добродетель и о гноище превращенного, разоренного пространства.)

Все равно, кого предавать: страну, идею, других, себя — что бы ты не делал, ты предаешь. Даже тем, что живешь. Забвение — предательство, память — предательство, простая порядочность — тоже предательство «интересов жизни», в которой подлость — главное качество и способность человека. Вот этого никогда не было, чтобы предательство было тотальным и всеобщим, как таковое, будто принцип жизни, когда пошлость обязательна, словно признак хорошего тона.

Даже если ты сохраняешь честность, то замаран и воняешь вместе со всеми, только и гордости, что не гадишь.

То есть: действуешь — гонишь волну, как в том анекдоте — гадко. Не действуешь, осторонь, «над схваткой», пытаешься сохранять гигиену мышления — чистоплюйствуешь, и тоже — мерзко. Мы повязаны и все за «одно», и мы знаем, что «оно», это «одно». Одним, но не миром, мазаны.

Мы повязаны не кровью — дерьмом и нечистотами разлагающегося пространства и времени, которые перестали становиться, стали и задохнулись. И распадаются они не на времена и пространства, не на время, а на все времена, навсегда переставая быть и временем и пространством. (Так не бывает? Именно не «бывает», если припомнить, что бывание — еще один лик становления, которого действительно нет, а только ре-ставшее, переставшее, перестоявшее протухшее переставание быть. От этого моторошно и беспомощно, как при известии, что ты заражен проказой. И при этом, в сущности, ничего не происходит, только жизнь на исходе и безнадежна.)

Самое противное, что все известно, уже проходили, и не раз. Только клинический идиот или законченный подлец может не замечать, что происходит с миром (правда, есть еще варианты клинического подлеца или подлого идиота), но все пытаются заглушить в себе растущий ужас вместе с растерянностью и беспомощностью. И потому все радуются, радуются и веселятся, хотя чувство юмора исчезло совсем — только дежурная пошлость и «смех в зале по команде».

Самое (самое-самое, самое не бывает) печальное, — да что там, отвратительное, — что изменились, подспудно, интенции. О какой красоте, совпадении истины, добра, универсальной личности идет речь? В самые страшные времена человеческой истории как-то само собой разумелось, что среди всеобщей гнусности все же есть — слабым дуновением — движение, дрейф к не сдрейфившей свободе, человеческим чувствам, возвышенным и прекрасным, к человеческой сущности, которой надлежало быть, хотя никакого смысла жизни изначально не существовало. Его творили из ничего. Из времени, пространства, вечного движения.

Сейчас не то. Сознательный выбор. Зло как осознанная, свободная необходимость. Долой иллюзии и утопии, к черту возвышенное и прекрасное. Воля к безобразному, в чем очень преуспели, и низменному. Воля низменного неизменного. Это не снятие — бессмысленное разрушение. Снятие предполагает возвышенное, как само собой разумеющееся, для становления снятия нет, поэтому ни возвышенного, ни низменного (которые становятся по одним и тем же законам), становящихся и остающихся в своей ставшести в прошлом. Низменного снятия быть не может, хотя развитие низменного — вполне. И оно может быть воплощенным отрицанием в своей особенности. Все человеческое трудно. Жрать и гадить где попало — вот идеал. Впрочем, идеал — тоже по нынешним временам слово неприличное. Злорадное глумление надо всем и вся. Это не то зло, которое невольно сопровождает всякое развитие, нет, это зло, которое нравится, которое любят и обожают, возвращают и культивируют. Не моральная проповедь. Это уже клиническая картина мира. Диагноз. Ну, о какой философии? О каких оттенках! От того, что выдают и принимают за философию, ждут терапевтического эффекта для *ressurrecturi* — воскрешения. И получается, — зомби населяют мир, големы. Требуют, чтобы философия была афродизиаком, забывая, что она не конский возбудитель, а яд. Однако в гомеопатических дозах может срабатывать вместо виагры или как косметическое омолаживающее средство.

Если этому времени предъявить обвинение в том, что оно — время предателей, никто не вздрогнет, а вот если утверждать, что мы попали в «невкусную эпоху», сразу зашевелятся.

А эпоха и впрямь безвкусная в буквальном смысле, начиная от продуктов питания и заканчивая философией, музыкой и поэзией, занесенных рецептами

в поваренную книгу. Философия — искусство кулинарии. «Сырое и вареное». Основанное на слепой вере, что это искусство, и что тухлые яйца — вкусно. «Тухлая рыба бытия» (О. Мандельштам) под Кантом, как под шубой, фаршированная Делёзом. Пирог с визигой из Гераклита. Расстегайчики с грибами-галлюциногенами от Рансьера, кулебяка («бьяка по-русски», Левинас «а ла русс») из русской религиозной философии, форшмак из Бубера с Берлиным и прочее, согласно обеденной карте. Напитки в ассортименте. Имеют право, мог же Т. Манн написать «Будденброки», пользуясь кулинарной книгой. На самом деле в этой ресторации воруют и обманывают клиентов. (Один персонаж во всеуслышание рассказывал, как готовят кофе в «Астории», пришлось ему в смутные застойные времена там работать с журналистским заданием. Потом, в перестройку, стал «главным по новостям», ИТАР-ТАСС — его детище, такой же, — «такое же», с разрешения Российской академии Наук — как фирменный кофе. В меню стоит тридцать рецептов: кофе по-ирландски, по-венски, по-турецки и т. д. На самом деле на кухне стоит бак, где варится какая-то бурда. Время от времени неопрятная бабища доликает воды, высыпает пачку цикория, все черпаком разливается по чашкам, сверху притрушивают самым дешевым сортом кофе, выдавая Робусту за Арабику — пейте, гурманы. Пьют и нахваливают.)

О духе сказать нечего, ввиду отсутствия такового. Нарастающий фашизм приходит очень заметно лишь для немногих, остальные примут его с радостью, как в 1933 году, всеобщим голосованием, да и сейчас, если провести референдум в масштабах Земли, то большинство подпишутся «за». Только ему это ни к чему. Он уже победил.

Я не к тому, что надо капитулировать, а к тому, что поздно с любовью писать трактаты о природе нацизма. Так что пора следовать совету Феллини: «Надо убить фашизм хотя бы в самом себе» (или, как говорил Б. Л. Пастернак, уничтожить Савонаролу в себе, — это тоньше, поскольку последний — жертва идеи справедливости. Жест убывающий и убывающий, отречение от себя в то время, как фашизм очевиден) — какое-никакое, но сопротивление. Мы живем в двуобразное, «бинарное», как заряд, время, не только в том смысле, что имеем две одновременные, рядоположные истории, но и потому, что есть еще, кроме случившейся истории, сбывшаяся, реактивная, благодаря которой «видимая история» происходит. Та, реактивная — обращена в прошлое и от

него отталкивается, преобразуя аккумулированное, освобожденное время, опредмеченное не в вещах, а самой историчности. Что и питает убеждение, что все проходящее, и это тоже пройдет. Ненадолго, временно, на время. Но мне-то от этого не легче, мне выбирать не приходится¹.

Поэтому лучше я застигну время врасплох, чем настоящее застигнет меня. Ведь не непогода, не переждешь. Эта «активная» движущая история сгорает, она непостижима в своем исчезновении. А история, которую мы обрели — обыкновенна, загадочна только в иррациональном остатке своего происхождения. В «снятии». Поскольку то, что снимается, в отрицании отрицания не пребывает, не останавливается в своем развитии. Как полагал Гегель, но в любой момент, когда движение развития поворачивает вспять, идет в рост совершенно нелогично, взрывая настоящее изнутри. Мало того, что все обретает множество «начал», изначально не связанных, допускает множество «субстан-

¹ Если объясняется нечто, то оно уже есть. (Как верно и то, что если нечто не наблюдается на горизонте, это не значит, что его нет. Или, как выразил это один из французских режиссеров, «если по утрам к Вам не прижимаются в парижском метро, это значит, что в Париже нет метрополитена».) Свобода выбора выбора не оставляет. Как в старом фильме «Подкидыш»: «что ты хочешь: чтобы тебе оторвали голову, или ехать на дачу?» Собственно свобода воли как телеологический вопрос о целях в природе даже у Канта упирается в самоубийство, именно поэтому он в некоторых своих работах противоречит самому себе, доказывая, что свободы воли нет, она только может быть, или не быть, впрочем, тут же доказывает обратное, педантично следуя своему методу. В то время как свободу надо создавать, рожать (сгеаге — порождать, давать потомство, до сих пор в испанском «сгеатуга» — ребенок, так что когда, следуя моде, говорят о креативности, то речь не о творчестве, а о ребячливости). При этом свобода — процесс, — она происходит всегда, и растет, как дитя духа и материи, в пространстве и времени, которое сама создает, ими же создается, и требует адекватного действия, восприятия и полного отсутствия целепологания. Цель не оправдывает средство. Она сама — средство. Недостаточно произвести свободное время, его еще надо превратить в пространство, а для этого действовать с ним следует по совершенно иным, безусловным, не скажу законам, не могу сказать, что надо, должно, что в гармонии (а гармониями скрепляли корабли в Древней Греции, гармонии — скрепы, гвозди, шпильки), гармония не в согласии, а в принудительном единстве. (Взламывание частных моментов, особенных форм наличного бытия «в эпоху всеобщей воспроизводимости», формальный принцип унификации, подменяющий универсальность, вырабатывает дурную его форму, когда все равно, от чего средство: хоть от клопов, от сглаза, от геморроя, свободы, али от прекрасного будущего). Становясь природой, свобо-

ций» (Спиноза бы сыпью покрылся, впрочем, Кант уже доказывал возможность многосубстанциальности). При этом «узловая линия мер» имеет «обратную фазу», о чем знал уже Гегель, рассматривая «обратную узловую линию мер», а она уже меры не знает. «По тому, чем довольствуется дух, можно судить о величине его потери»². О бытии духа сейчас можно только гадать, выдавая желаемое за действительное.

Всякая попытка противостоять нарастающему фашизму обречена: он стал умнее, вернее, изворотливее. Когда утверждаешь, что «фашизм — дух капитализма, его суть, и он без этого просто не может», то в ответ — уже не пуля или газовая камера, а толерантное: «Да, дух, но мы же строим рыночную экономику, а ей необходима одухотворенность, следовательно, фашизм обязателен». Или простодушное: «А что, пулю лучше, лучше концлагеря?» Да мы уже и так в концлагере с названием планета Земля (а скорее в «обезьяннике»). Самое отвратительное, что фашизм тоже имеет «все основания». Нет ничего проще, чем разобраться и уничтожить дотла теорию фашизма, но в результате это станет его апологией и пропагандой, потому что нет ничего более пустого, чем он, а пустота неисчерпаема. Это не творческое ничто, превращаемое в пространство жизни. Это пустота, забитая смертью и отработанным временем, мертвыми мифологиями. Создание утраты. Отказ от истории, создание новой мифологии как практика философии. Материалистическая мистика. Сознательное

дой красоты, освобожденной от оккупации прекрасным, свободное время теряет свою временность, и форма превращается в чистое движение. Для господствующего способа мышления, основанного на формальной логике, — дитяти мира причинно-следственных связей, — это ересь. Язык осуществляет террор и носит репрессивный характер по отношению к мысли. С этим достаточно разобрался Жан Полан в знаменитой книге «Тарбские цветы, или Террор в изящной словесности» (СПб., 2002). Хотя вариации можно продолжить до бесконечности и, главное, книга не требует согласия и ни на чем не настаивает. Но очень убедительно показывает, что борьба с клише и штампами сама может превратиться в клише, и что пустая риторика не такая уж пустая. Тяготение к штампу, как к общему месту, к банальностям — не только страсть нашего времени. Но и поиск надежных ориентиров, взрывая и взламывая которые, обретается видимость неординарности, иллюзия, что не все потерянно, и есть еще что разрушать, — в конце концов, само разрушение, — что можно остаться, без того, чтобы быть покинутым.

² Гегель Г. В. Ф. Феноменология духа / Пер. с нем. Г. Г. Шпета. — М., 1959. — С. 5.

зло как воссоздание ложной свободы. Проповедь рабства. В духе фашиствующего накануне оккупации Франции Кайуа.

И здесь находят оправдание персонажи вроде одиозного упомянутого мэтра: «Жизнь среди восстановленных развалин». «По-видимому, как в природе, так и в жизни духа одна лишь опустошенность способна дать нашей душе высшее блаженство. К ней приводят самые настоятельные движения ума, и натурам, любящим воздержание, ее доставляет суровый климат тех избранных краев, где она пребывает среди равных себе. Эта горячая пустота, создаваемая умом у себя под ногами, быстро становится единственным алкоголем, способным мощно пьянить. Дух, словно больное горло, бывает заражен флорой, от которой его нужно лечить». И прочая смешная дребедень, вроде «ног духа»

Реализовать общество рабов без концлагерей проще простого, достаточно удавить воображение в зародыше, свести образование к минимуму, в тот момент, когда требование времени, — реального, а не виртуального времени современности, без которого невозможно развитие, в переходе к всеобщему высшему образованию, — вместо этого сводится к минимуму. Сбылась мечта Геббельса, разнесли вдребезги, уничтожив, не только образование, не только школу, но и потребность в образовании (а оно, любого уровня, в таком загоне, что церковно-приходская школа — университет по сравнению с яслями наших «вишив», только не надо делать радостный вывод, что, дескать, «вот, надо возродить этот институт и отдать школы церкви», в аренду хотя бы, и на это пойдут, если церковь заплатит, кроме того, стоит помнить, что в свое время Бисмарк высказал интересную сентенцию: «войны выигрывают школьные учителя», а он знал в войнах толк, потом эту фразу повторил Гитлер, только не надо из этого делать вывод, что по этому поводу надо передуть весь педсостав, всех «педелей», «шкрабов», «преподов»: с новых станется. Они сами вышколят до искомого профессионального кретинизма, выхолостят до педологии. Война уже идет, и победителей не будет). Подчинить искусство (которое давно уже и не искусство, а политика), устранить чувства (впрочем, давно сведенные к рудиментарным реакциям), заменив их одноразовыми протезами, и все — никаких подавляющих насильственных мер не надо, все уже унифицированы и с удовольствием пойдут жечь книги, не все, конечно, а вредные. Маринину с Акуниным оставят, плюс любовные романы, конечно.

Любая попытка что-то «вякнуть» «против» мгновенно получает ангаже-

мент и ассимилируется уже с ценником на лбу, при условии, если имеет соответствующий товарный вид, как это, например, случилось с талантливым Максимом Кантором, который, может быть, нехотя, сделал недурственный пиар своей критикой современного искусства¹ и вообще современности.

С ним соглашаешься полностью, когда он, цитируя энгельсовское:

¹ Я не поленился, прочел все, что вышло из-под его пера, и не мог понять, почему я ему не верю? И дошло с опозданием: он участник этой же игры, которую только что клеймил. Болит у него душа, но тысячными тиражами. И как-то ему очень хочется быть Солженицыным и Зиновьевым одновременно, и немножечко его любимым аглицким историком. Ничего дурного, хотя и отдает дурновкусием. Слишком он упивается ситуацией, в которой он оказался, слишком сериозен, играя некую роль, «заполняя нишу», прекрасно отдавая себе отчет в происходящем. Есть момент лицедейства и лукавства пополам с провокацией, мессианской озабоченностью и самолюбованием. Самую малость, но есть. Хотел бы я ошибиться. Однако по сравнению со всеобщим размягчением мозгов, вернее их отсутствием, он — ума палата; на фоне всеобщей безвкусицы — законодатель вкуса; его тексты заставляют снять шляпу. (Впрочем, таких много, к примеру, тот же Виктор Топоров, к сожалению, недавно ушедший. И уже скоростижно, тщательно забываемый.) У Кантора тонкое чутье. Он отлично усвоил свободу обоняния. «Что хочу, то и нюхаю». Не про него, но про многих написано «Всю жизнь прожил анахоретом, держа по ветру нос при этом» (И. Губерман). И все же что-то в его текстах не так, фальшь какая-то, а скорее, привкус банальности. Он и сам лучше всех знает, что именно не так, и нет злее критика, чем сам художник. Хотя правда всегда банальна. Большинство принимают только то, что и сами знают, а потому — радость узнавания, дескать «и я так думаю», как будто все создается в качестве подтверждения собственной точки зрения. Так что в плане критики я всецело на его стороне и даже испытываю некоторое облегчение от того, что нет нужды писать то же самое и даже цитировать — можно отослать прямо ко всем текстам М. Кантора сразу и без разбору. Не до тонкостей. Не ошибусь, если скажу, что и ему хотелось бы не разгребать это дерьмо вокруг, с упоением, «чистыми руками», пытаясь узреть искру божью или найти рациональное зерно. (Он делает это истово, с усердием, с петушиным криком третьих петухов, разгоняющих нечисть, однако нечисть должна быть настоящая, а она фантомная и вызывается к жизни как раз петухами. Поэтому — не надо никого будить. Как пелось в одной старинной песне, тему которой в свое время позаимствовал Ференц Лист, «Ах, дней так много золотых, но наш удел таков, что умереть должны мы до первых петухов». А до третьих еще далеко. И спасибо ему за этот ассенизаторский порыв, вот только при сем гонит волну, почти цунами.) Или хотя бы услышать эхо в ответ (ответа не будет, слишком все грязно). Ему бы заниматься нормальными, человеческими, чистыми проблемами. Молча. Но где они, эти проблемы?

«История Возрождения нуждалась в титанах и порождала их», добавляет, что нынешнее «время нуждается в пигмеях и рождает их». (Удивляюсь, как это его не обвинили в неполиткорректности, пигмеев-то за что? Это он хватил, пигмеи тоже люди. Нынешнее время нуждается в амебах, в одноклеточных, и чтобы это одноклеточное сидело в одной клетке своего индивидуально «я» и не рыпалось. А то и еще злее: нуждается в холерном вибрионе. Уговаривать холерный вибрион стать человеком бессмысленно, но можно. Проповедовал же Франциск Ассизский птицам и «братьям нашим меньшим», современная философия проповеди свои обращает к вибриону, палочке Коха и прочим возбудителям, чем не занятие? Такая вот «любовь во время холеры». Здесь меня запросто можно обвинить в том, что я плохо отношусь к «народу», (а я, почти по Герцену, действительно к народу не отношусь, равно как и к человечеству, и тоже недолюбливаю «этого серого безликого пегого полубога», любить можно человека, и не вообще, а народ? Так можно и не любить, тогда недалеко и до ксенфобии, но русская интеллигенция на этой назойливой страсти уже обожглась), к «демосу», к «вечным ценностям» (где ценность, там и продажность»), и даже в приверженности все к тому же фашизму, против которого выступаю, но безразлично, без почтения. Хотя бы потому, что, изрыгая от тошноты рвотные массы слов, признаешь тот же фашизм действительным и достойным иной критики, чем уже апробированной «гнилой фашистской нечестии загоним пулю в лоб». (Кстати, критика современных художников и вообще искусства, равно как и философии, практически невозможна, о чем в ранних работах писал и Гегель, который считал, что объективного критерия в виде нормы быть не может, однако уже по другой причине: у них есть индульгенция в виде Геббельса с Герингом и доктором Розенбергом. Стоит проявить просто недоумение, не говоря уже о критике или неприятии, только «против шерсти», как тут же следуют отсылки, нет, не «туда», а на выставку «дегенеративного искусства» в фашистской Германии. Ну, положим, нынешнее искусство действительно носит в массе де-генеративный характер, оно в массе дезинтеграционно, именно в массе. Короче, художникам всех стран надо сброситься на скульптурную группу для своих благодетелей, только, боюсь, передерутся, кому исполнять проект, а так, не удивлюсь, если поставят композицию при нынешней-то толерантности).

Не лучше и когда переходят к открытому сопротивлению, которое бесполезно и тем уже эстетично. Пусть и баррикады, а не «митинги протеста». Это

просто «любовная прелюдия» к идее «сильной руки». Не случайно раздаются радостные клики в пользу «Нового глобального порядка» и устраиваются симпозиумы и конференции. Все это ясно видно и дело за поступком. Но «поступки сменяются ходами» (С. Кржижановский), а по мне, и вообще невозможны по сути, поскольку поступок — деяние нравственное, а не моральное, а ход — это больше для конформистов, это код и следующее за ним кодирование. Заявлять: «Никаких компромиссов!» — это все равно идти на компромисс с самим собой, что само по себе и не ново — акт предательства. Уже тем, что ты живешь и дышишь — идешь на компромисс. Так «чо» (на китайском так произносится «седалище»), либо кардинальная перемена, смена системы, либо «затихни и ветошкой прикинься».

Можно продолжать до дурной бесконечности, это не возбраняется и даже поощряется вплоть до уничижительной критики на тему «какой плохой капитализм, прям бяка». «Какой ужасный мир, в котором мы живем». И наши зарубежные и прочие коллеги немало в этом преуспели, ими просто любуешься. Как лихо они расправляются с проблемами, ими самими выдуманнами, и с какой легкостью брызжут жизнерадостным негодованием по поводу и без оногo, в феноменологическом раже спаривая феномены и занимаясь клинической картиной мира, живописуя третьестепенные проблемы в качестве первостатейных, вместо того, чтобы зреть в корень (в душу, в кочерыжку) или вообще заняться профилактикой эпидемий. Но это оставим философам-гигиенистам. Интеллектуализированные массы составляют интеллектуальные меньшинства, которых большинство, проявляя невиданное рвение в борьбе за права, скажем, однополых браков, с правом продажи в сексуальное рабство, пардон, оговорился, за права усыновления детей. Или прочие непотребства. Почему не борются за права зоофилов? Общество защиты животных будет против? Почему бы не побороться за «историческую справедливость в деле реабилитации фашизма?» Но и когда раздаются гневные филиппики и уничтожающая критика какого-нибудь С. Жижека, спешащего заработать, пока масть пошла, или К. Свасьяна¹, или всех этих Джеймисонов, Валертайнов, Бадью,

¹Этот просто откровенно ратует за фашизм, хотя критикует капитализм, так что пух-перо летит, просто скубет, но свое место в швейцарском университете не бросает и советские дипломы не торопится публично сжечь, а был талантливым, и в отсутствии интеллекта не обвинишь. Но, в отличие от классических работ раннего периода, невероятно глубоких и фантастически человеческих, последние опусы, вроде

Панвицами, Хаасами и т. п. (не хватало еще подробный отчет делать, эти — просто мастера машинного доения), суть не меняется — все равно на деле оказывается доказательством от противного, аргументом от очень противного в пользу того же отвратительного, от которого уже отвращались, отказывались, отрещивались всеми возможными способами. Интеллектуальные пассажи, как сытая отрыжка только что отобедавшего сутенера от политологии. А все сводится к одному принципу (принятому во всех тюрьмах мира): «не верь, не бойся, не проси», и он оказывается очень актуальным. А «свобода», которая приватизирована откровенно пошлой *организацией* и имя ее опорочено «чисто конкретно» и «без базара», подменена известным «век воли не видать», только с нацистским колоритом. Вот уж

«Европа: два некролога» или с дивным названием «...но еще ночь», являются очень остроумными в критической части по поводу жирного старого мира и совершенно тупой декларацией откровенно фашистских тезисов относительно рекомендаций его переустройства. Впрочем, не у него одного, и за любовью к творчеству Кнута Гамсуна, Хайдеггера, Жана и т. д. — вовсе не аполитическое чувство к таланту, а скрытая готовность к коллаборационизму, по принципу мечтательного студенческого: «А все-таки у гестаповцев была красивая форма». Есть, правда, надежда, что К. Свасьян делает это намеренно, провоцируя у амебообразной публики некий протест, хоть какое-нибудь возмущение, но выглядят его попытки иначе. Очень трудно отделаться от впечатления, что он просто отработывает свой профессорский паек, а кто платит, тот заказывает музыку, потому, что за конторой, в которой он служит, давно тянется тухлый запах. Впрочем, в сравнении с либеральными к своему предмету Филиппом Лаку-Лакбаром, Ж.-Л. Нанси и иже с ними, К. Свасьян выглядит вполне академично, благопристойно, либерально — демократично: он ругается сквозь зубы (спасибо, что не сплевывает с шиком), но это не идет ни в какое сравнение (стравление, просто травление, когда травят, наслаждаясь фантазией и завороченные собственным рассказом) с развязной, удалой, упивающейся своим плюрализмом «критикой», которая предупреждает, что есть опасность не только реставрации фашизма и его возврата, но и опасность преувеличения такой опасности, которая опасность опасности, — куда как замысловато, но не будем о грустном. При этом — любовь к родине, Армении, на очень большом расстоянии. Нет, чтобы преподавать в Ереване, учредив бедным студентам стипендию.

Не о Свасьяне речь — он действует как турист, в философии он нежданный гость, и уходит в даль с недалекими выводами, покидая в сердцах незабываемые основания очевидного, за видимый «горизонт, где сходится земля и небо, и переходят в друг друга», мня горизонт достигнутым, пытаюсь не преодолеть предел настоящего, а полагая ему край: так проще. Тем более, что «прозрачность зла» позволяет при некоторой шлифовке и просчитанной кривизне сообразительности свинтить действующий прибор для

точно — не видеть. Эка невидаль. Большинство современников и не видят — под ней понимается что угодно, но только не она. И уже не «бегство от свободы», а прямой бунт против свободы (и под этим имеется в виду вовсе не борьба с так называемой демократией, которая есть форма диктатуры, а спор порабощения с идеей свободы как таковой, а это куда печальное гетевского спора «порабощения с порабощением». Борьба за рабство. Во всех случаях в остатке оказывается предательство разное, но одно на всех, как таковое.

приближенного, а при определенной технической сноровке и ночного видения, претендующий на безукоризненную оптику, хотя взгляд шлифующего линзы не спиновский. Впадая в ариофору (безразличие), апатию (бесстрастие) и утешаясь деланной автаркией, которая не зависит от внешних обстоятельств, следуя принципам этологии (учению о внешних причинах). Но без атараксии — невозмутимости — не освобождаясь от «бредового наваждения, а всячески его культивируя», потому что в этом видится путь спасения собственной души, «где дьявол и бог борются», разводя в одновременности собой, своим «я» добро и зло как контрадикторные противоположности, когда вместе, согласно определению, одновременно они не могут быть ни истинными, ни ложными. Мир, который пытается покинуть К. Свасьян, не имеет никакой вины, не знает ее, поскольку ничего не знает о совести. Чего не отнимешь у Свасьяна, так это то, что, в отличие от современников, его неподдельное возмущение, похожее на отчаяние, сметающее все приличия, ввиду открывшегося ему, позволяет изменять вкусу, впадая в истерику, которая подлинная, а не симитированная, хотя и страдает сознанием собственной непогрешимости. И хотя он изрядно ушиблен Р. Штайнером, с его личной трагедией приходится считаться.

Это грозное предостережение, «его пример — другим наука», как, впрочем, и множество других симптоматичных происшествий, произошедших в современности, достаточно посмотреть последние фильмы К. Шахназарова, Э. Рязанова, О. Иоселиани, К. Муратовой, Б. Бертолуччи, С. Соловьева (особенно «Асса-2»), или прочесть О. Седакову, Ю. Мориц, О. Б. Кенжееве, А. Цветкове, С. Гандлевском, И. Жданове, Емелине, А. Еременко, Родионове, Вере Павловой, В. Полозковой не говорю. А о прохиндеях вроде Д. Быкова умалчиваю. Что это? Чужая, подхваченная как инфлюэнца, легочная инфекция, преждевременная старость, не дающая дышать, пандемия дурного вкуса, или попытка вернуться в свое время, вроде ухода Льва Толстого из Ясной Поляны, в желании вернуться в юность, как в ту станицу, где написаны «Казачьи», а вовсе не в «Оптину пустынь» спасаться? «Возвращенная молодость» Зощенко, и так ли уж это фатально? «Я скажу тебе, как брату, истина проста: никогда не возвращайся в прежние места...» (Г. Шпаликов). Обратимость времени в его сотворении. В открытии заново, сызнова. Без начала. О нынешних можно не упоминать — размягченное жидкое мышление, внезапное, как диарея, не позволяет с такими общаться. Атмосфера холерного барака, где требуются профессионалы, а не волонтеры.

Так вот, в таких условиях ни о какой свободе, о творчестве и собственно философии, вовремя умершей от стыда, говорить не приходится, вернее, приходится. Но все это болтовня, художественный свист и трép. Нам бы уже пора было бы говорить о том, что такая постановка вопроса: «Творчество как способ бытия свободы»¹ некорректна и имеет временный характер, хотя сегодня до реализации хотя бы этого тезиса — как до Альфы Центавра, куда мы верно и уверенно смещаемся. Пора бы по возможностям и времени говорить об уходе свободы в основание. О свободном времени как пространстве человеческого развития. Об универсальной сущности человека, об абсолютной красоте или хотя бы о ее противоречии с прекрасным. Мы по-прежнему копошимся в низменном, насаждаясь скотским состоянием, «объясняя мир» и «изменяя ему», вместо того, чтобы «изменить его». А что тут объяснять? Нечего. «Гідота є гідота» по всем правилам формальной логики и рассудка. Единственным оправданием современной и. о. философии есть странное состояние междувременья. Философы объясняли мир, потом пытались его изменить, не получилось — изменили ему, а заодно и себе, и теперь просто его сочиняют, вырабатывая стиль, как будто отращивают крылья, составляя их из перьев, скрепляемых ненадежным воском философем. Измышляя *Das Marchen von Schlaraffenland* (в русском переводе «О блаженной стране небывалой», по канонам издания «Сказки братьев Grimm»), Икары, Прометея, Кулибины изобретают философию.

И это занятие далеко не бессмысленное. Оно достаточно безнадежное, чтобы усмотреть здесь чистую эстетику, когда можно обойтись и без опорно-двигательного ортопедического аппарата резонирующего рассудка и создавать невозможное. Хватило бы безумия и страсти. Это не безделица, хотя и может быть таковой, и не мифотворчество, хотя и похоже. Простая попытка вывернуться из времени, из причинно-следственных связей на попутках подручных средств (а это все равно, что угонять трамвай или метро), и не только апеллировать к чувствам, аналога которым нет, и оснований тоже, но и созда-

¹ Так сформулирована тема конференции, проведенной на социологическом факультете Киевского Политеха, где многие годы занимаются проблемой творчества, что само по себе требует «мужества мышления» и «усилия абстракции» (Л. Фейербах), а это немало, по нынешним временам, безотносительно к содержательной стороне вопроса.

вать их из ничего, без вспомогательных средств воли, представления, ощущения, интуиции и прочих, превращая эти чувства из чувства «чего-то» в сущностные силы человека, которые могут обретать временную субстанциальность, освобождаясь на краткий, но вечный миг от диктата времени и пространства, не останавливая мгновения. Что-то вроде протуберанца чувственно-практической человеческой деятельности, когда чувственное оказывается само собой, обретая единую природу с чувством — никому-не-нужная-ни-для-чего-просто-свобода. Без предела. Впрочем, о диалектике предела, когда он, став собою, уже преодолен, если и отодвигается в бесконечность, особо тоже не задумываются. Для безразличного мира обезличенных форм разница не существенна, даже если она — между свободой и рабством.

И вот тут действительно все равно, поскольку все едино. Современный мир не знает предела — только лимиты, он весь осажден и осужден нуждою самопорождающей себя и представляющей идеологию нищеты. В том числе и интеллектуальной, духовной, идеальной. Потому общество потребления начинает выдумывать, сочинять потребности, не снисходя до их удовлетворения, или, наоборот, удовлетворяя их насильно, как клистир¹.

Не говоря о том, что творчество — вообще не проблема, особенно для того, кто творит, а не занимается им, но как раз оно является похищением, отыманием свободы и ее овеществлением, принуждением к существованию без бытия.

¹ Это не то благородное сочинительство, когда «тьмы низких истин нам дороже все возвышающий обман...» и даже не «нас возвышающих» — некая инерция стремления к возвышенному, к мнимым или действительным высотам, остается восходящим потоком. Нет, это наглое вранье, поклеп, клевета по преимуществу, донос «словом и делом» на прошлое, которое может обидеться и уйти, лишив памяти, но и на сей час выполняет роль совести (в ее риторическом обличи как *conscientia* — совесть безо всякого божественного разума и вмешательства, способность взвешивать добродетели и пороки, только со странной возможностью в них воплощаться, ими страдать или упиваться, не вразумляясь, как заблагорассудится, поэтому она близка безумному со-знанию), вернее, ее отсутствия, поскольку то прошлое, которое мы знаем, может быть и способом отпущения Грехов (грехов, а не мелких пакостей, искупаемых кровью, а не желудочным соком), и Местью, и приговором, и казнью, и временем обетованным, и гееной огненной, счастьем и адом — чем угодно. Совесть может быть возвышенной, возвышающей, унижающей, унижительной, уничтожающей, всем сразу и по отдельности,

Парадоксально (не привыкать), однако свобода только тогда свобода, когда она исчезает в основании, а не в предметности, тем самым становясь основанием, но становясь бесконечным образом, не оставаясь, всецело становясь, не претерпевая становления, всегда, а не однажды и вообще. В истории это был волевой акт, усилие воли и насилие воли и волею. Воля — иносформа

поскольку способность эта дифференцирует и объединяет только когда устраняется поступком, корда становится объединяющей.

Так что тезис Маркса «о богатых человеческих потребностях» приобретает извращенный вид, о богатстве — количестве непотребностей, хотя любая потребность непотребна в чистом виде, даже если это потребность в абсолютной красоте, что означает — красоты нет, а есть зияние, и мир абсолютно безобразен. Пусть: отсутствие образа — тоже образ. Еще Эпикур учил о бесконечно отдаляющихся, отпадающих от веры образах (эйдолонах). Проникая в душу человека, они накладываются друг на друга и запечатлеваются в душе, причем индивидуальные черты образов стираются, будто случайные, и остаются лишь те черты, которые им общи. Они-то и составляют память души, исходное общее знание, *praenotio* (предзнание) чувств, предчувствие предчувствия.

Современные философствующие невольно впадают в маниакальное состояние, известное со времен античности, в «пролепсис», впоследствии переведенное римскими стоиками как *anticipation* (антиципация — нечто вроде постижения или верного мнения, или понятия, или общей мысли, заложенной в нас, память о том, что неоднократно являлось к нам извне. При этом чувства не происходят и подменяются иконологией, оптикой взгляда извне, обращенного в поисках наличия и не видящего в диапазоне здравого смысла, за пределами рассудка). Вполне в духе Новой академии «все оспаривать и ни о чем не высказывать определенного мнения», при этом оставаясь при заимствованном, присвоенном собственном мнении, гадая, как гарусники, по внутренностям вещей (гарустии — гадание по внутренностям животных), или авгуры — по превращениям, по явлениям (предаваясь аустуциям — гаданиям по полету птиц, явлениям, когда вороны направо, вороны налево и т. д.). Были еще и халдеи, гадавшие по звездам. Я бы назвал это неосознанной дивинацией, т. е. способностью предчувствовать и узнавать будущее. (Кстати, у Цицерона есть трактат «О дивинации», а само это слово мелькает неопределенным со времен Гомера, как «мания» — некоторое обожествление явлений, по преимуществу своих мыслительных процессов, и веры в «проною» (переходящую в параную), «которая создала мир смертных», но проноя обозначает вовсе не личность, не имя собственное, а божественное провидение, пытаюсь произвести «фурор», так римляне переводят греческую «манию» — исступление.) Но способность эта призрачна и по сути смешна, хоть и безобидна. Охлософия, приближенная к народным суевериям, вере всеу, *superstitio*.

свободы и сопротивление предмета. Она может избавиться от предметности путем своего исчезновения, когда предмет (путают обычно, обыкновенно, по обыкновению, с вещью) превращается в нечто самостоятельное, обретает свою волю, волеет, («волеет», требуя невозможного), а творец теряет волю, становясь средством самовоплощения иного, забывая себя и преодолевая собственную личность. «Так в ярости труда каменотес становится безмолвьем стен соборных» (Рильке).

Вот это самозабвенное превращение действительно происходит в творчестве, но репродуктивном, а не продуктивном, как полагали некогда. Прошлое не просто переиначивается в настоящее, а переосуществляется, пресуществляя будущее и будущим же пресуществляясь, предстает как чистое ничто, не переставая быть собой, и вопрос — о превращении превращения этого ничто в бытии. Задача не в том, чтобы создать шедевр, это пустяки. Кстати, шедевр в первоначальном значении это ученическая, квалификационная работа, чтобы быть принятым в цех оружейников, кожевников и т. д. и получить звание мастера, поэтому от своих аспирантов я требую «шедевров», к вящему неудовольствию моих коллег, они должны стать «посредственными». Опосредовав и опосредствовав, как Моцарт, Рафаэль, Кант и все, как «всё», настав и преодолев себя, и так в этом одолении оставшись навсегда, исчезая и возникая: «не до побед — все дело в одоленье». При этом творчество — в отставании от самого себя, который всегда в прошлом, вдогонку, запаздывая навсегда, но здесь и открывается вечность, как предстояние.

Некоторых это убивает, ошеломляя невосполнимостью задачи и грандиозностью открывшегося, но есть и такие, которых такая ситуация несказанно радует тем, что «наши силы безмерны и наша задача бесконечна», как это виделось И. Г. Фихте, что это никогда не кончится, и бесконечность и вечность — с человеческую жизнь «размером», почти музыкальным, просто в человеческую жизнь уже — здесь-сейчас и никогда потом, хотя и нездешня. Создание шедевра — дело случая, задача же в том, чтобы воспроизвести не копию, а тот же процесс в ином, так, у Микеланджело (беру самый распространенный случай, и сразу вторгается Гете: «Что такое случай? Миллионы — случаев; Что такое необходимость? — единичный случай») нет ни одной (одна все же есть) завершенной скульптуры, — все брошенные, покинутые и представляют один, единый процесс — становления, перестояющего быть, оставаясь становле-

нием. Он завихряется, завихривается временем в формах наличного бытия в виде исчезновения/возникновения их единства. То есть форма наличного бытия — форма движения и ее превращение.

Одно из следствий этого в том, что свобода возможна, и это «бытие возможность», но и возможность/действительность и действительность/возможность, а вместе с тем действительность самой невозможной действительности, снимаются в реальности самой случайной свободой, где свобода не имеет оснований, не имеет условий и даже не желательна. Не думаю, что кто-то будет разбираться в хитросплетениях, не время еще — это лишь различные оттенки одного и того же в их имманентной игре превращений.

Скажу иначе: свобода заполняет непригодные и не ждущие ее формы. Безразлично к тому, ожидают ее или нет, неожиданно, стихийно, спонтанно, сохраняя себя по существу, по фактуре, но обладая пространственно временными ограничениями, как в настоящих произведениях искусства. Неуклюже говоря, произведение искусства происходит всегда, и в этом неисчерпаемость великих. Они заключают, полонят свободу. Но эта пленная свобода выходит из берегов заданной предметности, преодолевая ее и поглощая. Из плененной она становится пленительной.

Однако само становление недоступно, оно заставлено предметностью наличного бытия, то есть собой же в форме движения, остается превращение «всего во все и в сущее настоящее», то есть впасть в становление можно только подвергнув отрицанию его иносущность — бывание. И вместо свободы — произвол, из воли явленный — деспотическая свобода и только. Да и сама свобода превращается в страшнейшую из пыток, люди, увидевшие ее воочию, то есть, истинным зрением, умирают от тоски. Нам остаются промежуточные и жуткие проблемы: отношения свободы и воли. Проблема абсолютного «снятия» (*Aufheben* без *alles aufheben*, без церемоний. Игра слов: *aufgeben* — оставлять. *Aufheben* — снимать. «Аллес ауфхебен» — снимать шляпу, преклоняясь).

Потому что растление, разрушение, нас сопровождающие и вся обстановка тоже подходит по законам рассудка под все высprenние доводы диалектики, подменяя, вернее отказываясь от возвышенного и развивающегося, от красоты в пользу низменного и гнусного, поскольку и оно может быть «прекрасным», можно «полюбить» и вонь, даже использовать ее для основы в про-

изводстве изысканных духов. И превращать «все во все» через рыночные отношения, выставляя себя на продажу, с пафосом произнося «торг здесь неуместен». Рассудок защищает нас от безрассудной красоты, удерживая и удерживаясь в прекрасном, в рамках воображения. Однако, когда воображение превращается в рамки, оковы, препоны, его необходимо преодолеть, превратив в само превращение. Адаптированная добродетель. Мимикрия сознания и воображения. Вторжение преобразования. Воображаемое отрицание. Воображенное, заражающее своей злостью спокойные формы уже сбывшегося и сокрушающее их. Отвержение.

Есть риск вечно, всем своим существом, решать уравнение воображения с разочарованием, когда на развоображение требуется совокупное усилие всей способности воображения, которое на этот момент возможно у застигнутой эпохи. (Негативное воображение направленное всей мощью против воображения, «отрицательная динамика».) Тотальность и сплошность не являются попыткой залатать разрывы, перерывы постепенности, когда за краткое время, вернее, его отсутствие, во время кажущейся наступившей бессвязности и хаоса происходит развитие, которое в случае эволюционного (условно говоря, потому, что эволюция — тоже сплошь из скачков¹. Я солидарен с автором этой работы, и не потому, что попробовал бы я иначе, но в данном контексте предложенные решения — достаточны, хотя и имеют некоторые неожиданные следствия) «развития» нудилось, тянулось бы тяготиной бесконечно долго и, может, вообще не произошло.

Тотальность и сплошность сами являются такими перерывами постепенности, транскреаций в лейбнищевском духе, когда нечто, исчезая в одном отношении, во всей полноте возникает, не воссоздается в другом месте и в другое время, и не рядоположно, а снимаясь в одновременности. Это не одновременность физиков, хотя возможно и такое решение, она не отвечает требованиям СТО (специальной теории относительности) и сокращения Лоренца, второй постулат Эйнштейна. Бор, Пуанкаре, Гейзенберг и т. п. — не при чем, как и прочие остроумные решения, включая еще не созданные.

Здесь одновременность потому, что время в снятии одно, и множество

¹ См.: Босенко В. О. До питання про діалектику взаємодіювання «вибуху» і «стрибка» в процесі руху. — К., 1961.

силовых времен, полей времен, ветвящихся или разбегающихся, расцветающих и сворачивающихся «лепестками», сходятся в одно мгновение (в одно мгновение) становления, на время отменяя время и оставаясь безразличными к его неоднородности и, если хотите, житейской многоукладности.

Время действительно становится обратимым, но не в смысле обратно прокрученной ленты кинофильма, а так, что перестает становиться прошлым, — как сейчас, когда всё время, и будущее тоже — прошедшее, — и всецело становится настоящим.

Нечто подобное мы ощущаем, когда видим в прошлых свершениях или просто строчках, нотах, картинах нечто такое, чего не могло там быть, и все же есть не как наша фантазия, но объективная реальность, неотделимая от нашего существа, и чувствуем уже тектоническими пластами музыки, философии, и всем, до чего можем дотянуться, и ничем в особенности, всем и сразу, чувствуем всем существом, всей жизнью, которая нам даже не принадлежит. Воображение здесь уже не при чем. Оно о себе. Само собою. Воображаемое время и время воображения. Воображение сбрасывает старую оболочку резонирующего рассудка и перестает быть вспомогательной способностью. Далее ее потенциальную бесконечность предстоит превратить в актуальную, и при этом — всем своим существом, всей жизнью¹.

Прекрасное противостоит абсолютной красоте, становясь авторитарным и оказывая сопротивление до последнего. А воображение выполняет не роль

¹ Очень показательны в этом отношении рассмотрение кантовской теории продуктивного воображения, к примеру, Ю. Н. Бородая (особенно его великолепные «Теория познания (критический очерк кантовского учения о продуктивной способности воображения» (М., 1966) и «От фантазии к реальности: Происхождение нравственности» (М., 1995)). И никуда не годные работы последних лет, где происходит то, что со всеми талантливыми людьми, попадающими в бездарное пространство нужника. Они предают себя и скурвливаются, чего не происходило в самые суровые другие, но настоящие времена) и Делеза (по вполне понятным причинам работы не перечисляю, но главная беда: он — жертва образования, страдающая комплексом отличника. Он в принципе не может мыслить иначе, чем ему предписывал статус. Все оригинальные идеи Делеза — результат недомыслия и невольных ошибок академического привитого образования, которые он культивирует. Собственно, так со всеми, когда свои пробелы и осознание их выдают за открытия. Общая беда в том, что мы, прекрасно зная, что познание есть процесс, по-прежнему воспринимаем ориентиры как неподвижные звезды, полагая, что есть

априорного синтеза, а исключительно разлагающую, разрушительную функцию, в том числе и, в первую очередь, себя. Что делает полное тотальное разрушение невозможным, поскольку негативное воображение наталкивается на самое себя и вступает в антагонистическое противоречие, рождающее катастрофические и апокалиптические видения. Искусство этим живет, вернее, гальванизируется, корчась в судорогах и конвульсиях, которые ошибочно принимают за откровения. Но это там, где воображение как способность уже было, хотя бы как атрибут рассудка, там же, где оно не производится, не формируется, а если говорить начистоту, попросту не производится², не имеет способности к воспроизведению, в лучшем случае — к копированию. Воображение в его отсутствии подменяется, как модно говорить нынче, различного рода гад-

некое законченное знание), и самого Канта (напомнить названия²), о котором, сколько ни читай, как не изучай — нечего сказать, он изменчив, как бегущая вода, — насколько они разнятся, и не со зла, и не по заблуждению, а совершенно объективно. Так вот, обойдемся без доказательств, чтобы понять, что Делез — просто примерный школяр с очень слабым образованием. Любой специалист, прочитав его сентенции, в сравнении с изложением сути вопроса Бородаем просто пожмет плечами и, разве что, понимающе переглянется с коллегой. Дело тут не в личных пристрастиях, а в объективности того интеллигибельного пространства, которое делает действительным нашу субъективность. Попади Ю. Бородай со всеми его талантами в интеллектуальный бардак современности, он бы стал Делезом, впрочем, он и попал, к сожалению. Как и Кант, посмертно. Уже современники Канта месили его теорию (Фихте, например), как хотели, не вникая его слабым протестам, надругались над его идеями, что впоследствии назвали развитием. По правде говоря, нельзя дважды воспроизвести один и тот же текст. Он изменяется неизменным и неизменно, оставаясь нетронутым. Всякий раз, если хороший, он будет другим, сколько его не тиражируй, воспроизводя до бесконечности. Ressentiment — возвращение без возвращения, невозвратное, обращенное, превращение как таковое. На что сетовать? Да на что угодно. Сокрушаться по поводу и без повода, особенно когда нечего сказать, но приходится нарушить пустоту, гася ее агрессивность тяжелыми словами, забрасывая ее, как в свое время свинцом черныбыльский реактор.

² Это тоже очень интересная проблема: отношение производства, произведения и воспроизведения, вкупе с простым воспроизводством воображения, о котором, по сути, и идет речь в классическом понимании, а о продуктивной способности еще говорить и не начинали. Точно так же, как под чувствами в лучшем случае понимают аффекты или, совсем уж примитивно, ощущения, но очень немногие понимают, что такое чувства, и совсем немногие чувствуют.

жетами с одной стороны или «отсутствием воображения», которое сохраняет «конфигурацию» и вопиет к дешевой мистике, но оставляет ощущение непостижимого, «чюда», вполне удовлетворяя потребности неприязательного, но изощренного современного поспешного искусства.

То есть происходит фетишизация и возбуждается вера в единичность, раздуваемую до границ вселенной: в автономность краски, оттенка, звука, его обертонов, слова, буквы, знака, жеста, индивида, мгновения и прочего, взятого самим по себе, которые под умильным взглядом верующего рассудка начинают мироточить. Готовность к чуду находит его везде, где ни попадя, а заведомая идеология религии искусства довершает начатое елейными речами записных искусствоведов, заеложивающих предметность до зеркального блеска, до глянца, в котором сами же и отражаются. Абсолютизация «вещи-в-себе», а на самом деле «вещи-на-продажу». Антиципация частного и непорочного. Тоньше тоншего. Любое преобразование грубо и вульгарно: кто не понимает — тот грубый тип, а не элита, хотя, что тут понимать?

В общем, люди искусства и так называемые «интеллектуалы» поверили в свою избранность, элитарность и исключительность, что дает им божественное право презирать или снисходительно любить народ, за счет которого они живут, сверяя свой изысканный вкус по камертону, по пошлейшему вкусу меценатов. К слову сказать, миф об аристократизме и элитарности господ придуман холуями в людской. Философия действительно аристократична и элитарна, но не по праву первородства, а по праву первозданности, которая требует, как и вообще все человеческое, невероятных усилий, самоотречения, безмерной свободы, самоотречения, абсолюции, ничего не получая взамен, кроме абсолютной красоты и человеческих чувств в их невозможности, преодоления времени в его существе, и бесконечного самоотрицание, чтобы не превратиться в монаду, делая менгир из собственной души.

При этом, хватило бы сил дорости до монады, этого зародыша развития, которое может и не произойти. «Монада» не обязательно в лейбницианском прочтении, это может быть «сама монада, которая единственная причина и творение всего видимого и невидимого» (Иоанн Скотт Эриугена). «Единое — это то, что называется монадой, то есть единостью... Эта монада — начало и конец всего, поскольку она не ведает начала и конца, она относится к наивысшему из богов» (П. Абеляр). Про богов — лишнее. Монада — не состояние,

а превращение, всегда тотальное в своем единстве, независимо от многообразия.

Воображение может быть самоцелью, но не «здесь», оно всегда — в ином, и является оттуда. Не случайно в истории воображение, вдохновение, наитие снисходят свыше. Только все еще фантастичнее: эти снисхождения не предопределены, а являются теофанией (аллеферифанией), дуновением еще не созданной свободы, эманацией отсвета возвышенного, освобожденного движения. Нынешние унылые от этого отказались, и незачем о не бывалом.

Как говорилось, уже обходимся и без воображения, хотя бы и в Кантовском ублюдочном виде, когда воображение с помощью своих синтезов схематизирует, являясь орудием рассудка, хотя это и «низшая форма». Уничтожение воображения. Утрата воображения. Его ампутация, или нерождение, неразвитие, не избавляют от фантомных болей того, что не случилось. Когда его нет, остается писать твердой, чеканной, как сталь прозой, вернее, рисунком по стали, травлением без метафор (так писал Бабель).

Время рождается из опоздания, в зазоре. Хотя может быть преждевременным, но не поспевает за собой. Потому что прехождение времени или лишенность оно порождает время времени. Слишком поздно это излишество, неизъясненное, не проясненное, вдогонку за собой несбывшимся, покупается на это «слишком».

Чувство времени возникает на морских побережьях, на рубеже суши и океана. Оно колеблется между двух стихий. Можно полюбить и враждебную бескрайность. Но по-настоящему чувство времени захватывает без остатка тогда, когда само время обрушивается на время, требуя к себе человеческих чувств, поскольку само равнодушно.

Пролегомены к любви ко времени еще не созданы, как пространство предвосхищения, но уже предстоит обреченно впадать в прошлое, как в детство. Апатия (апатейя как алетейя) современного искусства. Бог без бытия. Идолы дистанции. Все фиктивно. Мир становится безымянным, как и предательство. Тахогенная природа времени ускоряющегося вслед за движением, за скоростью возникновения, превышает мои возможности, изменяя фактуру времени и пространства — «густота пространства и времени», «давление» времени, различные «агрегатные состояния» обретают почти физическую реальность, выводя «новые породы» геологические пространства. (Проникло даже в косную архитектуру, которая отказалась считать себя искусством, но проклятие

быть остается, проступая и в равнодушных геометрических формах, продиктованных промышленностью. Тем более, кроме традиционных, есть новые и невиданные прорывы, где архитектура проступает во всей своей мощи, как живое искусство, апеллируя к чувству самой идеи.

И это не только в так называемой бумажной архитектуре или ее электронных версиях, но и в самом способе мышления и в совершенно новых областях, вроде космической архитектуры или архитектуры компьютеров, которые ведут свою родословную от архитектуры парусных кораблей и органов¹. Здесь — не беспросветное ожидание и его противоречие с опытом, — чувства бесконечного опоздания навеки, и безнадежность в попытке догнать самого себя или хотя бы соответствовать своему понятию. Не тупая самоидентификация, которой все озабочены, когда примеряют на себя роли по внешнему признаку, но — происхождение в иное, когда понимаешь, что не успеть. «Не торопись, поскольку все дороги тебя ведут единственно к себе, не торопись, иначе будет поздно...» (Хименес).

Так вот, все изменилось в погоне за далью, когда в нетерпении пытаешься заглянуть туда, куда путь заказан, потому что еще не время, но оглядываться и возвращаться поздно, и рвешься за пределы возможного, порывая с настоящим.

Философия, на принудительном кормлении через прямую кишку стоимости, ощутить этого не может. Антропозоль антропологом. Все равно, чем опьяняться, и если нет возможности изменить действительность, то — изменить хотя бы сознание, ему же изменив. *Verwandelte* (перевоплощение, перевтілення) ей еще только предстоит, а пока она живет фетишами. Фетиш — *fectitus* — искусственный, поддельный, колдовской. На этом и играет искусство, пытаюсь остаться в вечном детстве: «Колдуй баба, колдуй дед, колдуй серенький медвед...»

Кант взял частный случай, он не мог предположить, — да и для его нужд этого не требовалось, все и так славненько складывалось и работало в его построениях, — что рассудку воображение достается от умершего разума², уже как готовый, свершившийся, выверенный инструмент, — рассудок не пыта-

¹ См. труд Б. Вальденфельде «Современный порядок в зеркале большого города» и очень показательную подборку по современной философии архитектуры в журнале «Логос/Logos», 2002, № 3/4.

² См.: *Возняк Вл. С. Метафизика рассудка и разума.* — К., 1993.

ется его поработить — только присваивает, понимая его высшее происхождение как ниспадение ниоткуда в никуда, и который он использует не по назначению, схематизируя, — все равно, что орехи колоть ноутбуком (парафраз на тему Шкловского «Гвозди самоваром забивать» — как меняется инструмент, и ста лет не минуло!), хотя ни одна железяка, любой электронной сложности, воображения не знает, зато в родстве именно с рассудком, вполне элиминируя, как бесконечно малую величину, просто не считаясь с ним как с погрешностью, однако копируя в точности его непротиворечивый характер. Рассудок ведь противоречия не ведает.

Он постигает только тождество, тожество, выводя законы формальной логики, которым сам же и следует. Традиционные примеры: «Сократ это Сократ», «сущность есть сущность», «жизнь есть жизнь» и т. д. Однако уже «сущность сущности» представляется ошибкой, тавтологией или запредельным пределом, до которого полномочия рассудка заканчиваются. От рассудка к разуму переход невозможен, — только отмирающий разум превращается, окаменевают в рассудок (причем этому подвержена и диалектика, когда она лишена развития или когда она избыточна, ближайший пример: гонения на сердешную ее же средствами в современном философствовании, отваживающемся на некую диалектикообразность, диалогичность, но в силу этого ненавидящую недосыгаемую диалектику всеми фибрами, не знаю, чего, но только не души.

Вообще в современной философии — ни души. Так, случайно заблудшие, вроде тех странных старомодных людей, которые упорно ходят в публичные библиотеки и предпочитают бумажные книги электронным. Но и в великопных образцах, вроде «Негативной диалектики» Т. Адорно, собственно никакой диалектики не усматривается: то ли потому, что предмет метафизичен, — та же диалектика, выколупанная из живого развития, то ли по иной причине, но странным и завораживающим выглядит обрушивание мощи диалектики на совершенно мизерные «найденные объекты», хотя достаточно всего лишь «здорового смысла». Все равно, что варить суп, используя все достижения квантовой физики и современной математики. Тоже может быть изящной задачей, вроде работы младшего брата моего друга над теорией «почему бутерброд падает маслом вниз»). Разлагаясь в рассудок, разум, порождая фигуры категорических силлогизмов, превращается в предрассудок. Тому иллюстрация —

современные торжественные и злорадные нападки на век просвещения, смешки и плевки в адрес классической философии, как и свидетельства обыкновенной неграмотности и отсутствия чувства историчности. (А откуда ему взяться?) На самом деле все это — деятельность в ее истории. И компьютеры, и сеть возможны стали только тогда, когда атомарность и механизм человеческого мышления стали настолько элементарными в результате разделения труда, что не составило никакого труда заменить механическое движение мысли, когда она перестала быть собой, алгоритмом, и отдать его машине. (Хотя странным образом виртуальные, например, книги, при всей моей настороженности, гораздо ближе к сущности книги, «роднее» предметности как таковой, будто внезапно лишенной вещного субстрата. Носитель стал менее громоздким, более стремительным, приближаясь к мгновенности вершащегося движения немедленно. Даже аудиокниги, терпеть которые я не могу, можно представить как возврат к традициям сказителей.)

Мышление в рассудочной форме стало просто бытом, и всю рутинную работу стало возможным отдать «кухонному комбайну» мышления, компьютеру. Правда, есть некоторое но... Возникновение компьютера можно сравнить с возникновением рояля, то есть, это инструмент, который универсален в местном масштабе. (Вплоть до хранения в рояле картошки.) Как рояль вызвал к жизни совершенно иную музыку, не имеющую к механике его никакого отношения, точно так же и компьютер провоцирует совершенно иные, не имеющие к его непосредственной данности, формы искусства. (Хотя хищная природа формальной логики полагает физические пределы использования компьютера, которому отведена роль времясоса — он вурдалак, только питается кровью времени, его уничтожая, похищая дыхание. Можно с уверенностью сказать, с чем он никогда не справится.)

Это сейчас, пока оторопь еще не прошла, довольствуются примитивными поделками в области музыки, живописи, да и литературы тоже, потому что боятся оторваться от старых, привычных, привязанных к эмпирии форм, однако, стоит измениться общественным отношениям, как тот же компьютер перестанет эксплуатировать человеческую способность воображения, и тогда весь этот нынешний мусор, вся эта пена уйдет, и сам компьютер вместо средства порабощения человеческой мысли станет основанием ее освобождения. Он может ведь не только экономить свободное время, но и упразднить его, как

ныне. Но будущая его роль — производить свободное время. Компьютер — тварь бессловесная, что прикажут, то и сделает. Но все же благородней уже сейчас его использовать не как клистир и средство подавления воображения и промывания мозгов. Хотя условий к этому нет, и силовое охранительное поле старой эстетики с трудом сдерживает попытки демонтажа человеческих чувств. Но можно поставить чистый эксперимент: на что способность твоя, уже наличествующая и становящаяся сущность, в свободном выборе хотя бы случайной свободы и случайной свободой? В противопоставлении, противостоянии фатальности. Это не «сделай сам». Простая проверка на способность человеческого, там, где ничего человеческого нет, равно как и оснований к нему. Создание возможности невозможного. Уникальная особенность нашего времени. И это всего лишь формальная возможность-действительность.

Что же говорить о диалектике воображения? И очень далеко до снятия формы и развертывания в беспредельное, где воображение не нуждается уже в самом себе и не является воображаемым, а приходит в единое, первоначально в искусстве, иногда и в тотальной философии, соотносясь как «эйдос» и «апейрон» в «энергией» действия из ничего. /Это не игра слов, не кокетничанье с, якобы, древнегреческими терминами, с тем же успехом я мог объяснить этот процесс языком музыки, или даже философии, но поскольку языка, способного это выразить, нет, и мы имеем дело с безмянным, безязыким, приходится, чтобы не забыть, не запечатовать, память скрыть и не упустить, сронив в прошлое, обронив прошлым, говорить чужим языком, намытым из прошлого временем, заставив смыслы мрачнеть сквозь прорехи текста, смутно надеясь, что время не забудет, о чем это. Хорошее название для книги: «Время без свидетелей». Время рождается из опоздания. Слишком поздно, и потому — эта изменчивость неизменного, несбывшегося вдогонку за собой, пока не поздно. Но — слишком поздно и немного завтра.

Единственным оправданием, просветом, через который можно дышать и оставаться в живых — одно: если нет условий для развития, нет основания, нет свободы, то остается творить «из ничего», времена временами собою, временами. Иначе говоря, горизонты не только зовут, но и ограничивают, не только «впереди», но и позади, и со всех сторон. Куда ни глянь — горизонт. На все глядим горизонтально (как у Мирослава Валека: «так спит река, она на все глядит горизонтально», хорошо бы — не плоско. Или у А. Еременко: «Горизон-

тальная страна»). Жить в них, отражающих и удаляющих тебя, растаскивающих в дурную множащуюся репродуктивную бесконечность, можно, и очень даже комфортно. Это как в зеркальной комнате Леонардо да Винчи: видишь себя удаляющегося и множащегося на все восемь сторон, а ты, родимый, посередине. Не комната смеха. Если хочешь преодолеть горизонты, надо восходить над собой, тем более, что горизонты чуждые и удушающие. Покидать их. Или бить зеркала по старинному купеческому обычаю. Все силы зря тратятся на бессмысленное сопротивление. Борьба с собственными отражениями, где ты и отраженный, и отражающий, и сокровенный, не отражающийся в зеркалах, как вурдалак, пьющий кровь времени и питающийся пространствами, похищенными у вещей. Чувства, если они есть и не ампутированы, тоже против тебя, они обрушиваются в тебя, поскольку ты — единственное пространство случайной свободы, которым они, задыхаясь, могут жить. Они теснятся в тебе, а ты толпишься в себе. Сплошной «магический театр» (Г. Гессе). Предает всё, предают все — чувства, музыка, живопись, философия (и это тем более стыдно и горько, что даже в своем нынешнем униженном состоянии она по-прежнему — квинтэссенция свободы. «Альфой и омегой всякой философии является свобода» (Шеллинг), но они выталкивают в бесконечность трансцендентальной эстетики, в том позабытом смысле дела-действия, где отняты голоса, есть только их отсветы/ответы на языке немых. «Как плеск ручьев, похожих на объяснение в любви глухонемых» (А. Тарковский). А в это время в априорных пространствах и временах, порожденных в реальном времени движения этих строчек, «наши тела бегут как ручьи...» (С. Трубецкой в энциклопедии Брокгауза и Эфрона в статье о становлении). И этим же движением похищается время жизни. Ты забываешься и собой, и другими. Тебя не помнят в лицо ни книги, ни музыка, ни философия, которая открывается во всей грандиозности не тогда, когда ты полон сил, а на закате, и правильно, иначе в двадцать лет сошел бы с ума, потому что выдержать эту бесконечность рассудок не может. А чувства — тем более, пока они в зародыше. И дело уже не в философии, поэзии и т. д., в их особенностях, и, конечно, дело не в тебе, а совпадает с бесконечным становлением, чистым стремлением в никуда, в превращении ничто в никто, открытого в бытие, где суть — само это превращение. Задача сколь бессмысленная, столь и грандиозная. Вроде космонавта, который выброшен с орбиты в дальний космос, и летит, продолжает исследования, хотя его опла-

кали и забыли, и никто не слышит, и полное одиночество, и впереди звезда, или черная дыра, которая поглотит и его, и все, что он делает, но он продолжает, без всякой причины, мотивации и прагматического смысла, надежды, свои бесконечные исследования — это похоже на ту свободу, которой мы дышим. Единственное, что нам остается. Зачем? Не знаю. Просто так. Иначе невозможно. Помните у Шварца в «Обыкновенном чуде» в финале: «Слава храбрцам, которые осмеливаются любить, зная, что всему этому придет конец. Слава безумцам, которые живут себе, как будто они бессмертны, — смерть иной раз отступает от них».

Единственное, что я знаю, кроме того, «что ничего не знаю» — ставить надо безумные цели («нус» с древнегреческого — не только ум, это еще и «цель», «мрія», это не мечта и не самолет, а, с того же древнегреческого, «надежда»), невозможные и недостижимые, хотя цель это нужда, родная сестра Заботы, которая ослепила Фауста. И свобода уже не проблема, и творчество, и ты сам.

Конечно же, хочется говорить о тонкостях. Смотришь с завистью, что вытворяли в истории философии, искусства, и давно тому вперед, и в ближайшее время, близкое по духу, не давнее время. Что-то вроде: «Образы в живописи, как облака, отражающиеся в бегущей воде, они поверхностны, отражения задерживаются на поверхности и возвращаются обратно, а тени их тихо опускаются на самое дно на глубину. Где кончается поверхность? И начинается глубина? Какое пространство странствует между образом и отражением? Восприятие целиком умещается между ними, а пространство его — во времени, которое одновременно: оно — простор между настоящим и произведением, застигнутым врасплох, там и тогда. Изъятое, освобожденное время само становится произведением “искусства”. Все умещающееся между незнакомым, но таким близким искусству, далью меж кажимостью и видимостью, — все вмещающим и всеприемлющим, как страдание, страсть. Кажимость выказывается/открывается и проговаривается о сокровенном, она отсюда — туда, за предел, за которым видимость видится, двигаясь навстречу открывшемуся открывшимся. Видимость и кажимость — это одно в противотоке, но они никогда не встречаются, они и ест это “никогда”: никогда прежде, никогда потом, и никогда сейчас, но здесь сходятся воедино все возможные и невозможные времена». И немеешь от невыразимой беспомощности, поскольку не можешь выра-

зять ясно видимую фантастическую идею. Самому смешно. Спасительная ирония вгоняет в краску. И цинично, хотя и с сожалением, бросаешь эту затею, утешая себя: подумаешь, я себе еще насочиняю. Однако понимаешь, что дело не в тебе, что гениальность и талантливость — объективны, но и бездарность с ту-постью так же объективны (только сознавать это не очень хочется), а те проблемы, которые назревали в происхождении в иное, теперь нарываю, и не нам их решать, только «засветить» и предать поруганию, собственно предать. Они теперь не преждевременны, а сверхвременны. Потому не стоит их компрометировать, торговать ими, закладывать, пропагандировать, лучше их самому порешить.

«Только об избыточном можно сказать лишнее. Избыточное становится несбыточным в наше тощее избитое время и истощным в своем истощении». Это не повтор, это — неповторимость. Когда-то Рихтер негодовал по поводу манеры Глена Гульда не повторять репризы у И.-С. Баха. По сути, любое произведение Баха играется дважды, и никогда никому не удавалось сыграть одинаково один и тот же, казалось, неизменный текст. Комментарий к Гераклиту. В нем чрезмерным — нищета, которая может и владеть миллиардами, нужда, глупость, пошлость и тысячи иных негативных серых качеств (которые тоже составляют полноту человеческого бытия), но стали добродетелью То, что рефреном, занудным припевом, вроде «ай-люли...» и «Охо-хоюшки», да «Горе мне, да горе мне, горе мне великое..» повторяется одна и та же тема, и как навязчивая идея, за неимением других, всплывают апокалиптические мотивы смерти — не случайно. Смерть становится единственным оправданием и константой в мельчающем мире, хотя как раз она-то — не проблема. Просто смерть очень доходчива в своих доказательствах, убедительна в аргументах, к тому же она, — говоря современным слэнгом, — отменная отмазка, чтобы ничего не делать. «Все равно умирать». Смерть — везде и нигде. «Театр смерти» (Тадеуш Кантор)¹. «Театр смерти» М. Метерлинка. «Не бойтесь зайти

¹ Во время войны организовал театр. Странное сопротивление. Вся Европа под оккупацией. Польша. Семь миллионов в концлагерях. Варшавское гетто. Армия Краева. Армия Народова, Армия Людова. Все воюют. Миллионы гибнут. Бомбежки. Расстрелы. Виселицы. А он, мятежный, создает «независимый театр» и ставит пьесы. (Впрочем, как и Сартр, «сопротивляющийся» в раздавленном Париже туманными намеками и спектаклями с иносказаниями. «Мухи», «Туфелька» Клоделя в по-

слишком далеко». Не боимся. Дальше смерти не зайдешь. «Не стоит возвращаться» (М. Бланшо). Не вернемся.

И все же память о смерти позволяет оказывать сопротивление. Чем безнадежней, тем лучше. В сущности, всякое человеческое действие или просто порыв позволяют поиздеваться над этим, не говоря уже о диалектическом понимании этого дурацкого процесса, не мешающем смеяться и отмахиваться, дескать, «А? Вы всего лишь об этом? Не до того». И не писать смешные безудержные книги, вроде «Смерти» «храброго» Владимира Янкелевича, хотя книга хорошая. Смерть — это не проблема, проблема — жизнь, я это всегда помню. Но когда жизнь под вопросом, когда она — проблема, — жизни нет (как ее не называй: Life, Хайят (фарси), жизнь или просто Зоя).

Поэтому в самых разухабистых текстах есть оглядка на нее. Можно игнорировать, но присутствие мелкой пакостной («зеленой, незрелой» Рильке) смерти еще при жизни видится во всем. Особенно когда убивают время².

становке Барро. Спасибо, что нашли в себе мужество не сотрудничать с гестапо. Или Мишель Дюфрен в концлагере, вместе с Рикером изучающий философию Ясперса. Не нам говорить, но удивляться можно.)

Люди, куклы, манекены, вещи, и смерть как кукловод и кукла. Так и сейчас: современное искусство и философия — вроде кукол, оказывают пассивное сопротивление, отступая в себя, на последний рубеж. Похоже на капитуляцию. Может быть, чтобы в условиях тотального нацизма хотя бы так обозначить свою позицию. Борьба и сопротивление. Вроде тех норвежцев, которые цепляли на лацкан канцелярскую скрепку, подчеркивая тем, что они не немцы. Теперь подчеркивают, что не философы, все той же канцелярской скрепкой? Нет, теперь мы со скоросшивателем, степлером и файлом. Мы преуспели.

² Для осмысления смерти как проблемы, наделения смыслом и смысливанием, исчерпанием его, достаточно формальной логики и метафизики, возвышающей смерть до прекрасного и эстетизирующей ее. Она мета-физика, а не ультра. Да и диалектика пока еще не преодолела себя, полагая, как самую пошлую, обыкновенную майевтику. Диалектический способ мышления и диалектика — не одно и то же, причем далеко, на целое превращение. Эту даль одолеть трудно, если идти по пути анти-метафизики. Когда диалектика перестает быть способом мышления и становится даже не способом дела, а делом жизни (и во всеобщем масштабе — природой жизни в человеческой сущности, в человеческом облики, и делом моей жизни — естественным, как дыхание и кровообращение), станет, вместе со свободой, чувствами, волей, сущностными силами человека, уйдя в основание — тогда она разво-

Особенно, когда любое времяпрепровождение, действие, каждый вдох соизмеряется с тем, сколько осталось, и стоит ли тем или иным вообще заниматься. Особенно гнусно на заседаниях и при заполнении бумажек. Шутка. Цейтнот. Не шутка. Но это не страшно — просто тоскливо и тошнехонько. Да и что писать? При современном разгуле информации все обесмысливается, хотя дело не в информации: пушай волнуется стихия. Обессудьбенные. Подвластные механической нужде, в нуждающемся и живущем по нужде мире. Страдающие интеллектуальной булимией. И потому питающиеся бумажным и электронным фаст-фудом. Пожиратели текстов. Ожирение сердца. Страсть времяфагов. Ненасытность солитеров. И не голод, не пресловутая жажда познания, истины, даже не гастрономический интерес или изысканное чревоугодие — простая природа гельминтов. Убить судьбу, и это тоже судьба? Какое

рачивается в своей тотальности, не абстрагируясь от непосредственного развития в своем становлении. Если я об этом могу помыслить, то, значит, время уже пришло и все возможности есть, кроме одной: быть собой. Себя предстоит преодолеть. А это невыносимо, как и существование (причем и сейчас, и в возможном «потом», после, которое не следует с необходимостью, а если не свободно, то произвольно непоследовательно и не последнее). Поэтому властвует странная логика, гомункулус (хотя это раньше, во времена Фауста, теперь обзаводятся реборнами, и спрос на них большой. Это такие механические куклы, манекены, копии грудных детей, гиперреалистические модели. Они кричат, гадают, поддерживают температуру, в некоторых образцах установлены программы с таймером, и по нему кукла «просыпается», шевелится, капризничает и т. п. — но реборны не живые, это жуткая игрушка для выживших из ума, правда, суть не меняется, таким реборном становится философия. Почему она? Да потому, что в любой другой, не гуманитарной области особо не помистифицируешь, хотя находятся умельцы, горазды устроить розыгрыш и в точных науках, но это другое. Какая-никакая игра ума). Так вот, реборн — диалектизирующий рассудок, в лучшем случае диалектика, рассудок применяющая, или втискивающаяся в его оболочку, а наяву — обыденное мышление, выполняющее команды не задумываясь, без исключений.

Все, что этому противостоит, включено и предусмотрено, вплоть до анархизма, терроризма и прочих раздражителей. Переход из времени в вечность — действительно проблема, но тот же Кант показал, что достаточно ее устранения. А не решения. «Есть такое выражение — им пользуются по преимуществу набожные люди, которые говорят об умирающем, что он отходит из времени в вечность. Это выражение теряет смысл, если под вечностью понимать бесконечное время; в этом случае человек никогда не покидал бы пределы времени, а лишь переходил из одного времени в другое.

там: одна, но пламенная страсть — жрать и приобретать. Я давно рекомендовал прописать третьей планете от солнца глистогонное. Но, говорят, нельзя, нарушится природный баланс. Будет экологическая катастрофа. Никак не годится нарушать пищевую цепочку.

Я не к тому, чтобы вернуться к временам, когда ни книг, ни Интернета не было в помине. В сущности, все было так же, для нас, ввиду удаления, по видимости эстетизировано, но только дилетант питает иллюзию, что раньше было лучше. Херить современность стало хорошим тоном. Костерить нынешнее — отличный способ прослыть умным, когда нечего сказать. Хаять? Но что достойно обличения, чтобы на это тратить время жизни? Да и что за нужда в этом, или хотя бы в простом осмеянии? История и так — пересмешница. Но и расхваливать на все лады тоже как-то не комильфо. Сам факт писания автоматически делает нас наркоманами и патологическими врунами. Автоматическое письмо? Глупость. Писание со страстью, пристрастно. Хладнокровное письмо вовсе не ведет к холодному синтезу. Не случайно появилась масса книг, посвященных тому, что все в современности строится на вранье. Достаточно вспом-

Следовательно, надо понимать конец всего времени, при том, что продолжительность существования человека будет непрерывной, но эта продолжительность, если рассматривать бытие человека как величину, мыслится как совершенно несравнимая со временем величина (*duration humaine*), мы можем иметь о ней только негативное понятие. Такая мысль содержит в себе нечто устрашающее, приближая нас к краю бездны, откуда для того, кто погрузился в нее, нет возврата («но его крепко держит вечность в том суровом месте, из которого никому нет возврата» — Геллер); и вместе с тем она притягивает нас, и больше мы не в силах отвести взгляда (*nequeunt explere corda tuendo* — Вергилий). Она чудовищно возвышена; частично вследствие окутывающей ее мглы, в которой сила воображения действует сильнее, чем при свете дня. Наконец удивительным образом она сплетается с обыденным человеческим разумом, поэтому в том или ином виде во все времена ее можно встретить у всех народов, вступающих на стезю размышления». (*Кант И.* Конец всего сущего // *Философские науки.* — 1973. — № 6. — С. 109, пер. А. В. Гулыги по изданию: G/S, Bd VIII. Сверен с оригиналом Т. В. Васильевой). Работа впервые была опубликована в «Берлинском Ежемесячнике в 1794 г. Я намеренно ссылаюсь на это издание, поскольку впервые его в далеком 1973 году и прочел. Есть и другие на русском, в 1980-м — «Трактаты и письма», в Собрании сочинений в 8 т., т. 8. Дань сентиментальности. В этих никому не нужных подробностях есть поэзия, чувство, которое захватывает на раскопках, при прикосновении к артефакту тысячелетней давности.

нить не ясно почему вызвавшую ажиотаж примитивную книгу Франкфурта «Булшит: К вопросу о вранье» и два десятка из известных мне других. Но так было всегда. «Много врут поэты...» Не Платон ли? Хотя это не утешение.

При современных возможностях можно подсуетиться и к любому слову подобрать соответствующих авторов, создать себе рефератик (троллить Интернет, как в свое время старьевщики кошками тралили гавани, куда с кораблей бросали всякий мотлох, просто заниматься интеллектуальным кайтингом, витая на поводке за воздушными змеями-проблемами, или, выкладываясь в культурном паркуре, перескакивать с одной темы на другую — сам дух исчез, остался случайно сфабрикованный парк «культуры и отдыха», Диснейленд случайных форм, где вяло проводят досуг в поисках адреналина, переводя время, транжиря его и убивая), выдав за монографию, составить себе дайджест, с которого кормиться всю жизнь или перелицовывать всю жизнь дурно понятые идеи того или иного автора, желательного почившего, чтобы не было проблем с авторскими правами¹.

¹ Всякому слову я могу предпослать комментарии, начиная с «Я». И тут же, не сходя с места, дать по памяти номенклатурную библиографию, — а уж с помощью «железа» — к гадалке не ходи — под стать докторской диссертации, в которой столько же докторского, как в легендарной докторской колбасе. Это относится почти ко всем работам, независимо от страны написания. Изменилось отношение к тексту, да и любой опус обладает новыми свойствами. Если раньше не представлялось возможным никакое слово вырвать из контекста или сдвинуть, что-то вставить или изменить, то сейчас переменчивость и мобильность уже приближается к сверхтекучести. Безо всяких оценочных суждений — это просто внове, и все тут. Собственно, об этом писал и с этим экспериментировал весь двадцатый век. Не только филологи, наводящие порчу на философию и литературу, перекосив восприятие наивных неофитов, но и вполне уважаемые персонажи, имена которых у всех на слуху. (А трудно удержаться и не запустить фейерверк блестящих имен, пройдясь по упоминательной литературе. Очень трудно, дескать, спокойно, свой идет, «Пароли» знаем.) «Террор в изящной словесности» (Жан Полан) узаконен и стал уровнем ординара. Удачно или не очень — суть не в этом. Текст стал не только сверхтекуч, но и сверхпроводим, его сущность — в исчезновении и перехождении без следа. Он не стареет и не устаревает, но «без консервантов», хотя и с ГМО. Я предлагал главному редактору написать книгу из одних комментариев, чтобы предмет при этом не назывался, а подразумевался. Дать ссылки и толкования отдельно, в рассыпную, предложив потенциальному читателю (и себе в том числе, поскольку, похоже, я единственный, кто читает написанное, да еще редактор, который правит. Один, помнится, на вопрос: «Ну, и как текст?» честно ответил: «Извини, я его

Наверное, только по этой причине мы стесняемся издавать свои конспекты. Впрочем, по-моему, они — уже глубокая архаика.

Однако, это вранье объективное, вынужденное, экстатизирующее, но не вдохновенное. Тут не несет, как великого комбинатора, хотя все мы по сути — комбинаторы, питающиеся комбинированными кормами, предложенными Сетью и собственным самодельным вкусом. Просто трудно оторваться от грешной сети. Здесь, если и несет, то иначе. И повод другой. Понимаешь, что неоригинален, но делаешь робкие подлеты, как на батуте. Сменить стихию страшно, тем более, страховочная сетка Интернета не даст разбиться, а чувство полета остается. Так и скачешь, пока не затошнит. (Правда, зачастую даже не на батуте, а на пружинной кровати, или вообще на раскладушке, было такое своеобразное изобретение, стараясь задержаться в детстве, сознательно в него впадая, — повсеместное явление сейчас. Инфантильность превращается в инферность.)

Причем однажды обнаруживается, что вкус лучше, дешевле опускать, чем культивировать, проще формировать в муках создания, а еще лучше — упразднить. Доминанты нет, критериев нет. А бесчисленные сочетания создают отличную возможность врать направо, получив почетное право нести отсебятину от имени истины в последней инстанции. И это будет истинная ложь, истинная отсебятинка и истинная речь современности.

Поэтому чувствуется молчаливая конвенция, когда, не сговариваясь, принято всеми пользователями, в том числе и философии, считать фальшивки, плагиат — подлинными. (Так в свое время было с фальшивыми долларами: при-

не читал, а книга хорошая», имея в виду свою работу со шрифтами, обложкой, версткой и, главное, с корешком, шитым на нитку), втыкать фрагменты куда ни попадя, хоть в середине слова. И, благо возможности Интернета позволяют, вмешиваться в авторский текст, изменяя, препарируя его, возражая, споря, стирая, вычеркивая, микшируя, тасуя, создавая новые переменные созвучия, как в современной электронной музыке, микшируя все со всем, выставляя сразу, вне последовательности, вне согласований времен, между несочетаемыми пространствами, в трехмерном виде, рассматривая в движении и гоняя, как киноплёнку, туда и обратно, создавая коллажи, перформансы и все, до чего доигралась (не скажу додумалась) современность, что мы по сути и делаем, с последующим скачиванием, но чтобы оригинал сохранялся как исходник в качестве Urtext-а. Редактор на предложение выпендриться тактично промолчал.

нимать их к хождению во всем мире, а там разберемся.) Потому что в плагиате можно уличить любого, и классиков прошлого тоже, хотя бы в том, что мы пользуемся языком, речью, и действуем как люди. Оправдана любая фальсификация. Смее думать, что все нынешние так называемые гуманитарные «науки» представляют собой подделку (поделку на продажу тоже), подлог, заимствование (и мздоимствование) и откровенное вранье, в лучшем случае сознательное заблуждение и так далее. И те, которые имеют почтенный возраст — тоже, достаточно посмотреть на Историю или Философию.

Парадокс в том, что никакого парадокса: что бы ты не написал — оно заведомо ложно, что бы ты не сделал — это акт предательства чего бы или кого бы то ни было, и даже того, что никогда не было, если ты честный, хотя и твоя честность — ложь. И это не Хименесово «сегодняшняя правда была настолько ложью, что так и не смогла осуществиться». Идешь ли на компромиссы (не важно, какие и с кем), не идешь ли на них, идешь на сделку совестью или противишься тому, а то и вовсе удаляешь ее за ненужностью, как аппендицит, — все акт предательства (пусть это отдает буквализмом христианских заповедей, когда «Не убий» предполагает не лишать жизни и паразитов, и насекомых, и микробов. Так и здесь: невозможно вычислить меру компромисса, который не был бы предательством). Тебя настигают пределы, и приходится себя ограничивать, чтобы хотя бы виделась бесконечность. Ты отворачиваешься от видимых (а заодно и от видимости, и от зрения, прячась в спасительную бесконечность слепоты, чтобы не видеть ничего) пределов, отрекаешься от них, вместо того, чтобы разбиваться об их неприступность вдребезги, и комфортно гуляешь привычными общими тропами здоровья, совершая моцион или созерцая диковины, выставленные на поглядение, на продажу под вывесками «Современное искусство», «Современная философия», калашные ряды, скобяные товары и прочие бесхитростные хитрые чудеса. От нашего времени останется только мусор, — здесь нет великих ошибок, «энергии заблуждения» (Толстой–Шкловский), — зато много мусора, и он вечен. А разнообразия форм, которым оправдываются, и в помине нет. Как выразился один московский художник (высказав очень общее мнение), не помню его имени, по поводу выставки современного искусства, проходящей на «Винзаводе» в июне 2013-го: «Все это мусор. Гораздо больше разнообразия на любой свалке». Там тоже что-то бродит и рождается. Но, в общем, гниет. И это не гипербола. Это лито-

та, преуменьшение. Куда ни ткнешь, все уже написано. Можно вздохнуть с облегчением. И это — тоже предательство. Вся история — история предательства. Не может предать только предательство, оно верно до конца. Хотя интересно было бы посмотреть на предательство предательства. Оно мелочно, хотя и незлобиво.

Предательство, которое в крови.
Предать себя, предать свой глаз и палец,
предательство распутников и пьяниц,
но от иного, Боже, сохрани.

Вот мы лежим. Нам плохо. Мы больной.
Душа живет под форточкой отдельно.
под нами не обычная постель, но
тюфяк-тухляк, больничный перегой.

Чем я, больной, так неприятен мне,
так это тем, что он такой неряха:
на морде пятна супа, пятна страха
и пятна черт чего на простыне.

Еще толчками что-то в нас течет,
когда лежим с озябшими ногами,
и все, что мы за жизнь свою нагали,
теперь нам предъявляет длинный счет.

Но странно и свободно ты живешь
под форточкой, где ветка, снег и птица,
следуя, как умирает эта ложь,
как больно ей и как она боится

Лев ЛОСЕВ

Ссылаюсь не на смысл — на тонику, на интонацию, на глоток умолчания,
которое предаешь. Или оно тебя.

Смысла писать больше нет, но нет смысла и не писать. Борьба мнений и вкусов нивелирует все в одну поверхность, в зыбучие пески унификации.

Можно долго и подробно объяснять, почему это происходит. Например, тем, что унификация не только подменила, но и отменила универсальную сущность человека, всеобщность упразднена обобщением, ампутировав воображение, а заодно и фантазию, и потому для современной жизни достаточно здравого смысла, который как раз и абсурден. Однако, поскольку абсурд узаконен, легитимен и признан в своих правах, то индивидуность, (индвалидность), поправшая индивидуальность, требует общих мест. (А общее место, как уже говорилось — всегда фашизм, потому, что представляет собой чистую идеологию, пусть всего лишь моды, среднего класса, мелкого буржуа, люмпена.) Отсюда, ввиду отсутствия философских проблем, которые отправились в ссылку в историю вместе с философией, и теперь стали достоянием одиноких паломников и бродяг, и знание ее, ею — едва ли не стыдное дело одиночек, которые вынуждены не знать, зачем они подбирают это знание, да и не тщатся знать. Здесь есть тысячи оправданий, от эстетических до фантастических, здесь есть своя мифология, но все это — вроде чудиков уфологов или «черных копателей». Поход в историю, вроде пробирания, просачивания в Зону в «Сталкере», ну и так далее. И необходимо написать сотни томов, чтобы объяснить, чем все же всеобщность отличается от обобщенности, универсальность от унифицированности, и потратить жизнь, чтобы объяснить, что такое личность, чтобы показать, как она должна обрести коллективную мощь в той же всеобщности. А смысл? А никакого. Универсальность упразднена, заменена праздностью самим разделением труда. Философов больше нет, есть некие bricolage-ы — люди, берущиеся за любую работу, и, такое впечатление, плюющие на все через губу. Страсть к безразличию.

Предположим, случилось чудо и удалось убедить всех в собственной правоте. Во-первых, все уже написано, во-вторых, это не остановит фашистизацию общества, в-третьих, никого не сделает счастливым, потому, что им этот нужник по нраву, а кому не нравится — тот не выживет. В-четвертых, и в-со-тых, к чему нам куда-то стремиться, когда у нас стремление подменено скоростью, а интенции не простираются дальше примитивных желаний. То, что человечество живет в долг, расходуя свои возможности в самых низменных позах, никого не волнует, потому, что некоторые знают, что обанкротятся, и эта

игра в цивилизацию, игра с кровопусканием — всего лишь пирамида. А все на крови. В том числе, на крови развития — свободном времени. Все это глупо и страшно, в том числе и глупостью. Я не собираюсь становиться в позу слабоумного Солженицына и в позе гуру нравоучительно писать «Как нам обустроить Россию», «Как нам обустроить Землю». Все, повторяюсь, уже написано. В лучшем случае это будет плохонький пересказ чужих мыслей, идей. По сути, уже все кончилось.

Но есть и другие черты этого процесса. Недоношенная свобода, то есть произвол, который охотно принимает на себя роль отдушины и занимается графоманством. Соблазн велик. Пиши, что хочешь, не считаясь с культурой, не считаясь с наукой, с правилами письма, с человеческими чувствами. Но, начиная с нуля (не с ничто, как пространства) и создавая собственные науки, темы, прокладывая ходы. Эти ходы — не кротовые норы, отличающиеся совершенной вентиляцией, или термитники, тоже отличающиеся великолепной тягой, отводящей углекислый газ, чтобы обитатели не угорели, скорее — времяточцев причудливые узоры, подтачивающие язык, который отвечает агрессией. И если отваживаться писать, то — робко игнорируя предшественников, материализовать собственные видения. Растворяясь во множественном бреде себе подобных, они, конечно, отнимают немало усилий и душат действительно свободную мысль, но зато позволяют беззаботно жить тем, кто думает, что еще живет философией, условно говоря, а на самом деле — какой-то созвучной вселенной жизнью, где все теряет свою определенность, и искусством, но там, где оно уже покинуло формальную оболочку и произошло в иное, где чувства слились в едином, поскольку ты — язык его. Язык до-словен. Слова выдают мысль, скрывая, а то и вскрывая ее, и скрывая, ее же выдает с головой, если она есть.

Как бы не так, ты точно знаешь, что все напрасно, тебя это и влечет, поскольку именно бессмысленность влечет, тащит парализованные причины следственными связями, потому и смысл — в бессмысленности и в его неуязвимости. И понимаешь, что, в сущности, это предательство самого себя, а потому и тщишься там, где все обречено забвению, потому, что еще не время. Отступишься — предашь себя. Не отступишься — будешь заниматься тем, что, с точки зрения ныне живущих, ерунда, то есть, тоже предавать, или продавать, что одно и то же, поскольку искусство, наука и культура, философия, наконец, живут за счет труда других, за чужой счет, паразитируя на свободном време-

ни, которое произведено как свободное время всех, а присваивается нахрапом единицам.

Многие писали о меде писательства (большинство прокляли этот гнусный промысел). Похоже — если вспомнить, что для того, чтобы произвести мед, пчела должна сорок раз заглотить первичный продукт и сорок раз отрыгнуть. И все это благопристойно до слащавой тошноты. Писатель все время говорит с акцентом, приспособляясь к террору повседневности (в украинском лучше: повсякденність). Он весь «и т. д. и т. п.» (еще хорошее название для книги), периодически вспоминая о клише борьбы с клише.

Великие примеры не помогают, — скажем, ссылка на изобретения Леонардо. Да и сейчас его усилия воспринимаются как блажь. И заранее знаешь, что занятия эти убивают, отнимают жизнь, изменяют формулу крови. Эти немногие не расталкивают локтями в толпе. Не выставляются на продажу и не участвуют в массовках. У них есть малая толика свободного пространства, где они могут дышать. Но, кустари-одиночки в кустарных лабораториях, они напоминают коллекционеров, замороженных идей, быть может, истиной, и великой, но не выходящей за рамки их жизни, и жизнь похищающей.

Нелепо писать, увешиваясь словесами и наворачивая цитаты, как накладную броню у современных танков, для защиты от кумулятивных острот в свой адрес, и еще потому, что это тоже — акт предательства и своеобразного экзгибиционизма, но под защитой от сглаза. А прежде творчество было самоубийством. Вынесение на люди собственных проблем, недостатков и достоинств, их тиражирование и разбазаривание, развооружение, разоблачение в истерике письма. Демонстрирование завидной осведомленности и эрудиции. (Интернет, — подобно тому, как в свое время кольт, уравнил всех в правах, или как автомат Калашникова поставил в равные условия угнетателей и поработенных, — это новейшее оружие уравнило идиота и эрудита, я имею в виду не игру в «эрудит», а тех легендарных энциклопедистов прошлого, что почили в бозе.) Что толку изгаляться, если все равно никто не поймет, а те, кто в состоянии понять, где-то уже это видели и читали.

Но именно бессмысленность этого занятия и привлекает. Демонстрируя собственную исчерпанность, опустошенность, ты не чувствуешь себя калекой, побирающимся показательными выставлениями на всеобщее поглядение своего калецтва, нет, ты чувствуешь себя артистом, художником, мастерски пишу-

щим в три краски, в три категории, в три образа (в три буквы) по фотографии на заказ, и презираешь всю эту публику, а она, естественно, тебя. (Кстати, прекрасный способ подготовиться к смерти. По этому поводу Умберто Эко высказался в «Как подготовиться к безмятежной кончине»: «Считать всех мудаками». «Так Вы мудаки, Маэстро?» «Вот, уже растете. Вы на правильном пути»¹. (Хотя, думаю, переводчик погорячился в выборе термина.) Современные темпы, Интернет и, соответственно, рваное время (рэг-тайм) позволили искать совершенно новые импровизационные формы письма².

Идея перестала пользоваться словами. Философия стала временной и одновременной, слившись со свободой, когда «сердце вдруг сжимается, как на слишком большой высоте». Высоте, которая превращается в расстояние

¹ Картонки Минервы: Заметки на спичечных коробках. — СПб., 2008. — С. 403.

² Научные труды ближайшего будущего почти наверняка будут отрывочны, лаконичны, без тяжеловесного справочного аппарата, лишены долгих оснований и заверений в актуальности темы, без введений, заключений, ссылок на историю вопроса, без цитат и библиографий. То есть — чистая поэзия мысли. Когда-то Вальтер Беньямин говорил, что от философии осталась только поэзия. С тех пор прошли миллионы лет, если измерять историю по интенсивности, а не физическим временем. Наступила новая геологическая эпоха, и «философия как предательство поэзии» подвела черту, хотя до сих пор не ясно, кто кого предал: философия поэзию или поэзия философию. В сущности, ни поэзии, ни философии — только предательство как таковое. То, что занимаются стихосложением, что пишущих стихи миллионы, еще ничего не говорит о поэзии. Умерло само пространство (впрочем, оно может быть восстановлено, если восстанет). Философия приказала долго жить. Но может и вернуться вместе с поэзией, как возвращенная молодость. Пока все вынуждены побираться у прошлого, занимаясь составлением гербариев из опавших страниц. Когда-то меня ошеломил Сергей Борисович Крымский, сказав, что он больше книг не читает (об этом же говорил и Умберто Эко, хотя оба и озывались это для красного словца). Очень даже читали, но речь шла о том, что теперь задача современной «философии» в лучшем случае в «актуализации». Вообще, история философии неисчерпаема, но главная беда — что любая система претендовала на последнее и законченное знание. Современные тексты основаны на еще робком, но уже бесконечном движении. Как только движение прекращается, о них уже нечего сказать, кроме случайных новомодных терминов, ничего не остается. Чистый треп. Способность «травить» что-нибудь хлесткое, вроде «модерн, как онтологическое чрезвычайное положение» (М. Макропулос).

Некий синкретизм, намеренно забывающий происхождение в принудительном единстве, когда

размером в расставание навсегда. Простор и бесконечность. Сейчас философия пишется без риска. На удалении. Без желания быть узанными и просто услышанными. Ничего не говорящие слова. В молчании. Преображение без превращения в превращение в преображение... Абиогенез, оживление вещества, одухотворение материи (П. Тейяр де Шарден). Испод пространства. Изпод времени гонимые философы по случаю. Бездомный воздух философии. Как бездымный порох. Бездонное время — еще не вечность. Но уже время. Поэтому вся современная философия недолговечна. Она мгновенна. Это же относится к современному искусству. Причем аккумулированное мгновение причастно вечности — и это достоинство. Все тут же предается забвению. А от текстов остается только послекусие движения: мерцание, блики, марево. Властвуют расточительные речи, оттачивающие слова.

Хотя они старые, как мир. Нет не о гипертексте речь, хотя и о нем тоже (надо ли напоминать о том, что гипертекст пронизывается спицей, как клубок ниток-строк, насквозь, и каждый раз в новых отношениях, если есть спица, но можно этой же спицей что-то вязать, и уже совсем интересно, когда встречаются два клубка, а еще лучше расплетенных, хотя все это — игра в бирюльки, между прочим, очень серьезное дело, потому что при помощи бирюлек плели кружева).

Если бы я вздумал просто насыпать фразы или афоризмы, насыпом подбросить горстку слов, и они бы опускались на лист, на бумагу, пыль букв рассеял бы по мирозданию, напыляя поверхности, то и в этом был бы какой-то

философия снимается вместе с поэзией и музыкой и переходит в иную стихию, хотя бы апофатически или иронически, в отречении, снимается как «летучий корабль с якорей». Там она у себя и не в себе. Ни философии, ни поэзии, ни музыки. По крайней мере, это не стихи с философским содержанием, положенные на музыку, это иное, имеющее в виду свою предметность, взглядом удерживая на весу, для нее — единственное спасение. Уравняв понятия, образы, метафоры и т. д. с категориями, утратив доминанту, философия осуществила некий синтез, но это как превращение ее в «Летучий Голландец» или пьяный корабль Рэмбо. Это о ней: «Листья или искры моря / времени сверкающего враспыленную...» (Филипп Жакоте). Когда-то К. Паустовский писал, что «чувство времени родилось на берегу моря». (К слову сказать: зато «проблема времени началась с виселиц», как говорил А. С. Канарский, потому что проблемой время становится только становясь объектом общественной практики в самом грубом ее воплощении — промышленном производстве.)

смысл. Такие опыты уже были. Так что вопрос о форме, о жанре оставлен прошлому, в которое мы иногда входим, и сначала книги, потом страницы, фразы, слова, буквы расступаются и не держат. Текст расступается не как лес, открываемая пространства, а как зыбучие пески. От слова и до слова распахиваются просторы, и ты проваливаешься в бездну, очень тесную, и в то же время такую огромную, что не задеваешь за «края» элементарных частиц; нет ни трения, ни слабых соотношений в иррелевантности, кроме того, что ты здесь-не-здесь («здесь» вокруг отрицания), где-то вне себя, но не сейчас, не сей-минут, сей-час, а мгновенно, во многих, во всех сомкнувшихся в мгновение просторах, обступивших его, и им, его вспышкой, озаренных.

Такой способ отлично показывает бесперспективность нашей эпохи. Он — зыбучие пески, которые расступаются. С пейзажами тоже покончено, они расседаются насмерть в атомах слов, и тем пронцаемы. Непронцаема невидаль. Так вот, пески превращает в монолит, в бетон, связанный плотными ассоциациями и общей информированностью. Это даже не повод для исследования. Хотя можно создать очередную семиотику и плодить смыслы на фермах, клонировать их, и, может, это к чему-нибудь, лишь бы быть, приведет, во что-то разрешится, и будет радовать игрой остроумия вроде карликовых лошадей или кроликов, как знать. Объект теологии Декарта — «Бог без бытия». Но это тоже предательство себя.

В философии остались только надуманные проблемы, не надуманных проблем в ней никогда и не было. Однако, нынче кроме пустопорожних проблем, на то рассчитанных, вроде упомянутой семиотики, есть еще и проблема творчества, проблема герменевтики, восстанавливающая непонимание в своих правах; проблема, которая уже не проблема, идеального, решенная в общем виде; проблема гендера-тендера, занятие для озабоченных гендеровок. Гендеровка — помесь бендеровки и махновки, кстати, почему все они такие озлобленные и некрасивые? Я не страдаю мужским шовинизмом, однако феминистские движения, в общем, сражаются за сознание поработенной женщины, в то время как по-прежнему классическое «Степень эмансипации женщины зависит от степени эмансипации мужчины в человека», как писал Классик, и ничего умнее не придумали. Так что все игрища вокруг эмансипации направлены именно на то, чтобы женщины боролись за свое крепостное право. Стать как мужики? Нет проблем, становитесь. Но здесь есть подвох, когда начинаешь говорить

всерьез, сразу вспоминают, что они женщины и обиженно замечают: «Вы не забыли, что мы все-таки женщины?» В науке нет деления по половому признаку. И вовсе не обязательно становится мужеподобными, чтобы доказывать свою правоту. Среди мужчин изрядное количество тупых, и вовсе — не мужчин, но это как-то не так коробит. И вообще, когда помотришь на приоритеты, то сталкиваешься с определенной мифологией, когда чтят, например, Лу Саломе (которую «эмансипэ» не очень жалуют), но вовсе не за оригинальность текстов или остроту ума (что сомнительно, поскольку отдает дамским рукоделием, такая парфюмерия ядреная шибает и валит с ног. Хоть стой, хоть падай), а, прежде всего, делая радостное открытие, что она не имела образования и вообще самоучка, забывая, что это не мешало ей учиться, и вполне серьезно, благо чутье на личности было фантастическим, а посему делают вывод, что не стоит «париться», и мы до всего дойдем своим умом, «лёгко». Тут пол не при чем. Мужики тоже выписывают себе индульгенцию почему зря, когда сталкиваются с подлостью великих людей. Так что проблема освобождения женщин, по нынешним временам, надумана. Хочешь быть свободным? Будь им. Почему обязательно это сводить к разрешению, на глупость и умственную распушенность, что относится и к слабому полу мужчин.

Проблема политкорректности (никаких проблем, в философии ее попросту нет, здесь не действует ни Гагская, ни Женевская конвенции, а также Хельсинские соглашения, хотя всюсю свирепствует стокгольмский синдром — здесь пленных не берут, но заложники всюсю любят своих палачей, и ни о каком плюрализме, как бы не заверяли в этом, и ни о какой толерантности речи быть не может, впрочем, речь — может. Особенно на публику. Однако это относится только к публичной философии, которая от публичной девки не отличается), ну и вся область политологии и даже современной психологии с социологией вкуче, которые увлеклись простым разводом лохов (намеренно употребляю вульгарное выражение для большей ясности), благо вседозволенность интерпретаций позволяет. Теология, которой уже нечего сказать. Проговорилась начисто. Трудно представить, что можно еще сделать что-то виртуознее, чем отцы церкви.

Кароль Войтыла, при всей своей образованности, выглядит по идеям и остроте суждений жалко, в сравнении с мыслителями прошлого, которые даже в ересях были фантастичнее, задевая такие проблемы, которые мы едва

ли можем себе вообразить. Пущай себе производят свой товар, кому-то нужен попкорн и розовая сахарная вата для причастия, но никакого отношения к мысли они не имеют, только к измышлениям. Равно как и современные психологи. Решая уже решенные вопросы, они сами формируют своих пациентов, изобретают комплексы, и это беспронизышно и просто, как игра в наперстки. С социологией еще проще — разработка вполне рутинных способов управления толпами. Казалось бы, не нравится? Не читай. Ан нет, эта зараза похищает жизненное пространство собственно чистой философии и мысли, которую нигде, ни в каком Интернете, никакой сетью не уловишь. Тем более как я могу знать: нравится мне это или нет? При отсутствующих критериях. (Говорят: трудно знать вкус пудинга, пока его не съешь. Верно и обратное: для того, чтобы знать, что перед тобой дерьмо, не обязательно его пробовать.) Потому, что этой классической философии, или философии, продолжающей развитие, практически не осталось. (Правда, и развития нет — «свитие», как говорил А. П. Карсавин, движение вспять, и потому мы читаем «задом наперед»: совершенно бессмысленное занятие — «еитяназ еоннелсымссеб». Как будто крутанули киноленту назад.) А покойники не могут рассказать, что они-то имели в виду не то, что мы прочитываем, деля, скажем, из Канта оригами, или вырывая по листику и упаковывая закуску, или заворачивая в партитуры Моцарта селедку. Более чистый способ это гадание, отрывая по словцу, по фразочке: «Любит — не любит, плюнет — поцелует». Может и плюнуть, да еще как. Так что заставить историю платить по репарациям удастся плохо. Дело гиблое. (О бесконечных призывах к крестовым походам за «национальную идею», в то время как вопрос этот решен давным-давно, и нечего проводить эксгумацию, заражая трупным ядом пространство, и упоминать непристойно.)

Вся история уже превратилась в сборник сплетен, слухов, доносов, зараженных грибком и плесенью современности. Она вся состоит из отступлений, оговорок и ремарок. Это как экранизации современными кинематографистами романов прошлого, пускай сравнительно недавних. «Белая гвардия», или что-то из более позднего. Герои московских (хотя дело происходит в Киеве) коммуналок и подворотен, приблатненная шпана с замашками лимиты и национальных меньшинств, но никак не белая гвардия. И даже если режиссер — коренной москвич с собственной московской квартирой, это не делает его чистым художником, все оттенки московской «тусни» прилипают к нему, как

грязь, где бы он не «отвисал». Скажут, что я тоже не в курсе, у художника свое видение, но когда показывают так называемую эпоху застоя, так только протираешь глаза. Хотя какое-то правдоподобие должно быть. Кстати, так же подтасовывается и документальное кино. Но — не об этом. Ну, приблизительно то же происходит и в истории философии, и мифологии, и, не побоюсь сказать, что и в музыке. Можно сослаться на трудности перевода. Время говорит на другом языке. Даже в рамках одной собственной биографии узнаешь о себе много нового и странного. И переговоры не удаются, с собой согласиться трудно. И тот прошлый мне бы наверняка начистил лицо или церемонно вызвал на дуэль. Не об этом речь. Не о философии, а о предательстве. Современности присущ принудительный идиотизм, впору говорить о прививках против идиотизма, не для того, чтобы выработать устойчивость к слабоумию, а дабы заразить. Это не идиотус — простак античности (Идиотом был Сократ), не Идиот Князь Мышкин, не «Идиот в семье» Сартра, — это он о Флобере, — не простец Кузанского, нет, это здоровый жизнерадостный полноценный идиот современности. Чем полнее, круглее идиот, тем полнее и лучезарнее его счастье. Но подлость и предательство просто обязательны. Прошлое пытаются пустить на памперсы для обгадившейся современности, и теперь всячески их рекламируют.

По счастью, та ненатуральная суета, потная истерика, когда с облегчением впадают в пошлость, к философии не имеет никакого отношения, даже косвенного. (К тому же — засилие дилетантов, преумножающих всеобщую дурь. Я всегда любил оных за искренность и неподдельную страсть, готовность на жертвы, но теперь наметилась дурная тенденция, что образование не нужно, учиться ничему не надо, опыт прошлого — это архаика, и можно прийти с улицы и устроиться комфортно в философии, в истории, в искусствоведении и т. д. И устраиваются, доказывая тем самым свою правоту. Плодятся, как вирусы, и порой смертельные. По сравнению с современной неграмотностью, какая-нибудь Лу Саломэ выглядит грандиозно, хотя это такая же ерунда, как Блаватская, Гюджиев и прочие властители дум толпени. Это вообще похоже на мистификацию дурного тона. А что говорить о нынешних? Да, конечно, К. Свасьян прав, полагая, что философствование полностью вытеснило философию. Скажу больше: это не философствование. А дурного тона препаскудная журналистика со всеми ее ужимками и провинциальной развязностью, наглостью и расположенностью к привычному унылому, тусклому, узколобо-

му вранью. Нет никого наглее репортеров. Помните, как их панически боялись в Одессе и в Москве, в Питере и Киеве — это целая эпоха. Так теперь они еще наглее и беспросветнее.) Репортаж с места событий, которое имеет место не быть. Ни события, ни места, ни времени.

Гегель нимало не погрешил против истины: «Круг жизни крестьянки очерчен ее коровами — Лизой, Чернушкой, Пеструшкой и т. д., сынишкой Мартеном и дочкой Уршелью и т. д. Философу так же интимно близки — бесконечность, познание, движение, чувственные законы и т. д. И что для крестьянки ее покойный брат и дядя, то для философа — Платон, Спиноза и т. д. Одно столь же действительно, как и другое, но у последнего преимущество — вечность»¹. «Мой дядя, самых честных правил, когда не в шутку занемог...» На этот раз занемогла теть философия, и тоже не на шутку. Но — слишком уж фамильярно. И хотя преимущество — вечность, все равно в ней не найти места, хотя, как сказал поэт:

Я больше не ищю себе места
в полете со скоростью времени
где можно поверить на миг
в неподвижность собственного внимания

Филипп ЖАКОТЕ. Пер. О. СЕДАКОВОЙ

И еще:

Но, быть может, мы в силах каждый день чинить
рваную сеть — ячея за ячеей, —
как если бы там, высоко-высоко,
мы сшивали, звезда за звездой, ночь...

Филипп ЖАКОТЕ. Пер. М. ГРИНБЕРГА

Как отзвук, дошедший по вечерней воде, как пущенный камень. И тот мандельштамовский «припечатал к всплеску на все, какие будут времена» (В. Петрушенко). «И я из тех, кто выбирает сети, когда идет бессмертье косяком...». Косяки бессмертия не нерестятся, да и, по прошествии многих лет, уже

¹ Гегель Г. В. Ф. Афоризмы // Гегель Г. В. Ф. Работы разных лет: В 2 т. — М., 1973. — Т. 2. — С. 532.

понимаешь, что бессмертие — не самый лучший выход. Если хочешь быть свободным, хотя бы случайной свободой, то лучше пройти незамеченным и не заниматься философией и искусством по предварительному стовору, не быть очарованным и замороженным собственной тошнотой. Философия на договоре предпочитает надзирать над миром и сетовать, что он не изменяется к лучшему.

«Seinesgleichen geschieht» — Р. Музиль, вторая часть романа «Человек без свойств». — «Происходит одно и то же» и — «не-иное» Николая Кузанского.

Несказанное. Удерживание от высказывания. Эпохэ. Воздержание, как возрождение (и вырождение). Оно — законченное и оценочное, уценочное. Но затаенность в молчании, укрывание в молчание высказываются как выстрел. Необратимо. Нежданно, хотя все пребывало в ожидании. «Вот-вот, и начнется»).

Проговаривание как прорыв. Проговариваться напрочь, до чистоты и начистоту. Договариваться до себя и не идти на сговор.

Метафоры и образы в современной философии — вроде парусного вооружения. Категории — как стоячий такелаж. Понятия — как бегущий. Метафоры — дополнительные паруса, образы — вроде трюмселей — небесных парусов. Клипера в период рассвета парусников носили при слабом ветре дополнительные паруса. «Заметим, что клипер носил “небесные” паруса, не дошедшие до наших дней, — трюмсели (их потомком будет спинакер. — А. Б.). Они возвышались над бом-брамселями. Поэтому клипер некогда имел и трюмстенги, и трюм-реи. “Летучие” паруса, вообще говоря, ставили только при слабом ветре. Они не имели брасов, а управлялись шкотами, наглухо закрепленными за ноки расположенного чуть ниже бом-брам-рея, у которого были свои брасы, и поэтому его можно было поворачивать по своему желанию. Трюмсель же лишь как-то повторял развороты паруса, работавшего под ним»¹. Когда штиль, как сейчас, хотя изображают бурное волнение, и ничего не происходит, ветер только в высоте, — выбрасывают образы вверх, куда только можно достать и где есть еще шевеление, и «корабль плывет». Но это когда океаны были большие. А не как лужи для пускания корабликов. Однако какие теперь клипера, последний, «Китти Старк», сгорел на вечной стоянке в Лондоне. Сейчас — комфортабельные яхты с мотором, в лучшем случае, спортивные, где паруса для развлечения, а так — все больше шаланды и баркасы, да и то для

¹ Митрофанов В. П., Митрофанов П. С. Школы под парусами. — Л., 1989.

экзотики. Прогулочные катера да сухогрузы с танкерами. Все концепции — больше сувенирные модели парусников в бутылках. Философия на приколе (и по приколу). И главный лозунг момента: «Не раскачивайте лодки — крыс укачивает» (кажется, Ильф).

Многие приходили к тривиальной мысли, что если еще недавно философия в разыскании Истины опускалась до бытия «как если бы», то теперь ее падение дошло до «почему бы и нет», «ну нет, так нет». Это прочитывается у многих авторов, например, у Карена Свасьяна, Максима Кантора, и у многих — не так явно. Будучи общим местом, мысль эта не так уж безобидна и допускает возможность оправдания любой дряни, только потому, что она, видите ли, есть. Когда пишется «Апология циничного разума», то это означает, что цинизм в его оголтелой тотальной форме стал нормой и образцом. Хотя Петеру Слотердайку проститься и за этот надутый шедевр, и за громоздкие «Сферы» за одну-единственную фразу, которая, впрочем, тоже вторична: «Очень важно уметь превращаться из человека смешного в человека смеющегося».

Когда начинаются разговоры о разнице между иронией и цинизмом, то это означает, что разницы уже нет. Тарле писал о казнях матросов во время прилива в бытность Свифта, что было обыкновением выезжать на место казни семьями, как на пикник, с выпивкой и закусками. Провинившихся матросов в часы отлива привязывали накрепко к кольям и ждали прилива, в котором они тонули. С ними переговаривались, шутили и спокойно жрали, любуясь, как медленно понимающийся прилив топил их. Свифт оставался равнодушным, и это вменяли ему в вину позднейшие исследователи. Тарле замечает, что средневековью эстетически представленная ирония была вовсе чужда, ибо она разрушительна и безыдейна с точки зрения догматического и дидактического способа мышления. То же можно сказать и о нашем времени, сплошь пронизанном цинизмом и иронией, которое не только бесчувственно, скорее чувствительно и чувственно, но и вообще в нем чувств нет, даже для ощущений — протезы.

При этом исходят из вполне правомерного тезиса, что для философии нет запретных тем, иначе какая она при этом и после этого философия? Однако марафты все же не хочется. Не в качестве прогноза, но стремительное изменение самого темпа, ритма и размера письма неизбежно. И записные книжки с разрывами, словечками и оговорками больше подходят для выражения современных идей, чем многотрудные тома. Записки на папиросных коробках.

Записки на манжетах. Записки на спичечных коробках Умберто Эко. Истина никого не интересует, вполне достаточно осведомленности. Короче, книги не становятся, но они дают гораздо больше простора фантазии, позволяя домысливать и сочинять между строк. (Как в нищие послевоенные годы шивали газеты в тетрадки и писали между строк передовиц и на полях.) Искусственный простор лабиринта, где строки играют роль зеркал, отражая неузнаваемые образы нас самих в бесконечность, которая свернута в мгновение.

Это даже не новелла, которая — нечто новое, — здесь ничего нового, зато есть зряшное в отношении к утраченному, и то, что немедленно «здесь, но не сейчас», и наоборот, сейчас, но не здесь. Что-то среднее между новеллой и эссе. Эссе, как правило, пишется не спонтанно, — по случаю. Это наиболее соответствует Чейн-Стоксовому дыханию времени.

Астматический всхлип, вздох, как удар под дых.

Это скорее коллаж. Коллажи отсекают сны. Думание бездумно. Мышление — бессмысленно. Бесцельное занятие. Но процесс.

Все младше становится Чехов, и почти ровесниками — Лев Толстой и Бернард Шоу с Пабло Казальсом. Многие думали, но не осмеливались задать вопрос, является ли состояние бездарности объективным. Дальше перечислений у многих авторов, кого они уже переросли в старости и насколько они старше Шопена, Лермонтова, Пушкина, Спинозы и т. д. никто не пошел. Эти списки я встречал у упомянутого У. Эко, у В. Шкловского, Ю. Олеси и многих других. С возрастом умнее не становишься, но начинаешь замечать то, что раньше пропускал. Пристальней читаешь комментарии, смотришь дневники, отрывочные записи, и понимаешь, что это норма. Не по старости, просто начинаешь искать прецедент для самооправдания или самоуспокоения. Даже у Микеланджело в его единственном автопортрете, на фреске страшного суда, видна эта загадочная рябь времени. Начинаешь обходиться без слов, и только видится уже не в деталях, а «свет невечерний», слов которому нет. То же и в сонетах, особенно поздних. Все их знают, но все же один напомним:

В конце исканий после долгих лет

Идея вдруг вознаградит творца.

Но сил нет у резца.

И он из рук дрожащих выпадает.

О правды поздний свет,

Когда в нас пламя жизни угасает!
Ужель природа знает
(Сумев путем ошибок и сравнений
Создать в тебе заветный идеал),
Что и сама, как мир наш, одряхла?
Охвачен я смятением,
Какого не знавал —
Догадка мозг разъела.
Так значит смертно дело?
Что за порогом совершенства ждет?
Движение, поиск, жизнь... иль мир умрет?

Пер. А. МАХОВА

Короче, как сказал Л. Конечский, «впадать в старческий маразм — дело ответственное». Поэтому и цепляемся за чужой опыт, примеряя на себя. Философский винтаж. Философия травести. Боязнь, как у артиста, остаться актером одного ампула, одной роли. А старость — это фатально, хотя всегда есть последнее решение. Труп вызревает в человеке исподволь. Смотришь на свою жизнь со стороны, будто читаешь скучнейший роман из российской действительности об интеллигенции. «Жизнь человека» (Л. Андреев), «Жизнь Арсеньева» (И. Бунин), «Жизнь Клима Самгина» (М. Горький), «Доктор Живаго» (Б. Пастернак). Тоже об этом, и все они не кончаются никак. А хотелось бы «Тихий Дон», — тоже ведь про жизнь, — или «Повесть о жизни». Так ведь нет: старость — как запах. Насколько это необратимо? Но дело не в ней, а в общем, подточенном потоком прошлого, пространстве. Когда властвуют обратные метафоры, возвращенные и предъявленные действительности, когда «носятся с существованием» (Сартр), хотя ни в нем, ни в искусстве нет никакого смысла. К Сартру вполне применимо определение Ильфа «старый халтур-треггер. Холодный философ». Как «холодный сапожник».словно в быстрых шахматах, все заботятся о выигрыше темпа, при потере качества, изображая страсть. Страсть как таковая бесстрастна, с претензией на беспристрастность.

Время натравливается на пространство. Пространство напускается на время, но они не поглощают друг друга, а ускользают в видимость и кажимость. Избыток, чрезмерность времени, которое — лишенность и лишность.

Но за всем этим скрывается искусство перевода. Не культур, этим что — им всего лишь умирать. Перевода времени. (Не в смысле зряшного праздного времяпрепровождения. А в смысле перевода времени на время, перевода пространства на пространство и их взаимопревращения. Нелепая привычка — совершать, вершить и совращать, сокращая память, ничего не прощая и не нарушая, не забывая о забвении. Причем роль катализатора играют ошибки перевода, почти как в случае с философией, когда прочтение Греков принимают за постижение сути греческой философии, а она не едина ни в одном пункте, комментарии к Платону, если проследить, оказываются домыслами, которые важнее оригинала.)

Никого не интересует, как это было на самом деле. Интерес вызывает расстояние, дистанция с иллюзиями перспективы, и обратной (оборотной, потому что линейная, оттуда, с точки схождения, как взгляд назад является обратной) тоже, от нас, исчезающих, до них или любого персонажа в истории, будь то художник, поэт, философ или некто безымянный — важно расстояние во времени, которое и есть простор времени в целом, — его мы крушим, крошим, сокрушаясь, и режемся об осколки разбитых снов. Это не трудности перевода. И в течение одной жизни трудно договориться, а тем более согласиться с собой вчерашним и сегодняшним. При этом пользуемся «жаргоном подлинности», о котором так лихо высказался Т. Адорно.

Кроме того, в отсутствие свободы на ее место приходит исчерпанность прошлых форм, которые выступают остаточными возвращенными формами. Недостижимость и непостижимость прошлого и его солидарный с настоящим распад, когда обнаруживаешь, что, к примеру, образцы логичности, Аристотель или Кант, на самом деле зачастую пишут полную, с точки зрения нашего времени, ерунду¹, и никакой логики, кроме логики пустоты, в их творе-

¹ А заморожены мы своим собственным непониманием, удаленностью и воображением, основанном на доверии и желании, чтобы все было не напрасно. Когда перечитываешь того же Канта, «Конец всего сущего», «О внутреннем чувстве», «О вельможном тоне, недавно возникшем в философии», «О мнимом праве глать из человеколюбия», «О неудаче всех философских попыток теодицеи», — намеренно беру работы, скомпонованные в одном томе собрания сочинений, — то поражаешься как раз глубине и актуальности, хотя смутно догадываешься, что это глубина времени и твое собственное усилие, плюс потерянное навсегда и обретенное на время время, превращенное в чувство.

Не так уж мало — обретенное мгновение (протяжения не имеет, но имеет способность длиться

ниях нет, то это означает, что свобода, вызываемая заклинаниями интеллектуалов, присвоивших себе свободное время, — эта свобода срочно стала досрочной. От нее отказываются, потому что в несвободном мире она — яд и явная гибель. Она — негативная свобода, и как таковая не уходит в основание, а пропитывает его.

Когда свобода уходит в основание, время остается с человеком сам на сам, а вечность один на один. И тогда человек предает себя и свою сущность, которая и есть свобода, подчиняясь обстоятельствам и растворяясь в среде, потакая серости, — иначе ему придется сражаться с самим собой насмерть. Он впадает в спасительный анабиоз ожидания. Принимая ожидание за надежду (о чем писали и Хайдеггер, и Блох, и масса, иначе не назову, масса других не менее примечательных, выстраивающих хлипкие стены деревенского дома, вместо того, чтобы разнести это все), потакая замкнутому пространству и локальному времени, полагая, что присутствие имеет место. Тесно присутствие — просторно место, и то, что имеет место быть, должно быть, и должно быть преодолено, включая само долженствование.

У предательства свои резоны быть собой, у измены — веские мотивы. Разум предает здравый смысл, здравый смысл — разум. Память изменяет. Всё это шатко, вернее, ни шатко, ни валко. И грозит завалиться при первом дуновении жизни. Но мы обречены на банальности. Этого я боялся больше всего: что кто-то вздохнет с облегчением. Ну, раз время такое, бездарное, то чего суесться? Суть как раз в том, чтобы противостоять не бездарному времени, — его не переиначишь, — а самому себе. Преждевременной старости. Кто-то из знаменитых сказал: «Старость — это стыдно», но «Смирение — это законченный идиотизм», не важно кто, философия, да и искусство, в сущности, анонимны,

канителью времени миллионы световых лет — все равно что корпускулой вечности, писать, как мелком, и не на зеленом сукне, под преферанс, а на аспидной поверхности бесконечности. А если помыслить, как этот мел осаждался из мириадов жизней и сколько миллионов лет, создавая меловые отложения, то становится моторошно. Но — так и время чувств, только представляет собой не фактуру крошащегося материала, а стихи, записанные мелом или любым другим материалом. «Грифельная ода»), которое, по тому же Канту, — конец чувственного мира и начало интеллигибельного. Становление становится последней, конечной целью, «вывертываясь» из ничто, отпадая его эманацией, и прошлое время, освобожденное от временности, воспринимается потоком вечности.

только этим можно как-то оправдать всеобщие заимствования. Это разобщенное пространство пронизывает силовыми линиями, полями каждого.

Старость — тоже предательство, да и смерть — предательство жизни. Вернее, обоюдное, одновременное предательство жизни и смерти. Очень унижительно. И с претензией на всеобщую природу. Прямо «Об изначально злом в человеческой природе». Но это, по сути, противно человеческой природе. Как и любое безобразное. Оно чудовищно. И, тем не менее, отступаешь в себя, сдавая одни позиции за другими. Сначала предает музыка, потом поэзия, живопись и философия, тело изнашивается, подводит память, и не предает только боль и ожидание. «Ждать означало ждать случая. Случай же приходил только в похищенное у ожидания мгновение, мгновение, когда вопрос об ожидании уже не стоит», «Забвение — еще одно имя для бытия»¹. Вчерашний день вечером не становится. Он остается вчерашним днем и восходит, как утро в закатных лучах, во всем одностороннем эстетическом очаровании, в восхищении. Завтрашние сумерки не просыпаются утром. И остается только спешить отречься.

Отступничество, отречение. Изречение, как истечение, истощение речи, ее исчерпание. И это в последнем, то остается писать, держась за строки и фабрику язвительность, словно признак ума, как Ницше, например. Но этот как раз промерил предательство до дна и стал его теоретиком: «Спасись из огня, мы перешагиваем, влекомые умом, от мнения к мнению — становясь благородными предателями всего того, что вообще может быть предано». Или «Мы должны стать предателями, проявлять неверность, все снова и снова отречься от своих идеалов». («Человеческое, слишком человеческое»). В сущности, Ницше одним из первых выпустил праздную публику, предав философию и открыв шлюзы для мутного потока мнений. Философия увеселений. Забава для ожиревших мозгов. Сборник шахматных этюдов: «Белье начинают и выигрывают. Мат в три хода». Девушка по вызову. Основы консумации. Эскорт услуги. Конечно, если философия не может защитить себя от дурака, то она не философия. Ницше спасает только талант, хотя подобное — мудрствование для взбесившегося обывателя, мелкого собственника. (Достаточно дешевой сенсации. «Американские ученые увидели и ужаснулись...» «Английские уче-

¹ Бланшо М. Рассказ? // Бланшо М. Полн. собр. малой прозы. — СПб., 2003. — С. 478.

ные доказали...» «Японские ученые советуют...».) И наивная вера в науку¹, в печатное слово, сделает свое дело. Этим вовсю пользуется психология², да и

¹ Некогда А. Герцен сетовал на «Буддизм в науке», блестяще разнося предрассудки в науке, — не помогло, потому что те, кого пытались увещевать не делать глупости, не знали, что их разносят щент. Это феноменальнее остроумие оказывалось значимым для людей, которых не было нужды убеждать отказаться от обывательского взгляда. Они не нуждались в еще одном доказательстве очевидного. В современной науке, особенно в гуманитарной, хотя и естественные грешат этим, свирепствует забобонная (от «забобоны») чума и забубенная философия, вернее то, что заняло место сознания и мышления. Она превратилась в адаптер ко времени, переходник, пользующийся униженным и унижающим воображением, не заблуждающимся и безошибочным. Возвышенное требует усилий, униженное имеет еще доплату с дивидендами и обладает невыносимым обаянием. Философия осталась наедине со своей элитарностью, которая, как истинная элита, не знает и тем более не кичится своим положением, пытаясь довести противоречие до разрешения и снятия, а не устранения. Философия больше не «она» — «оно». Навесив или сняв вывеску «Философия», проблему не решить, но и не поставить. Да хоть написать золотыми буквами «Институт философии благородных девиц (и, как водится, объединить с черт знает чем) парикмахерского искусства Академии парапсихологических наук». Философии там не будет. А будет цыганочка с выходом. «Едемте кататься за Волгу, нынче, с цыганами...» И она поедет. Или так задумчиво: «В “Яр”, к цыганам...» По-пушкински, к Тане. Вот и вся философия. Грянем мы припев старинный: «К нам приехал, к нам приехал, Деррида наш дорогой. Пей до дна, пей до дна...» и т. д. по сценарию. Нехай. Люблю цыган, но не цыганщину. Но это так, просто, зарисовка с натуры. Проблема в другом.

В том, что пространство развития, и философии в том числе, — свободное время, которое в нынешнем общественном устройстве не может быть самоцелью, объявляй не объявляй, поскольку способ производства диктует отношение к свободе как к несвободе, видя в свободном времени, — и справедливо, — опасность своему существованию. Время воспринимается издержками производства и таковыми для этого периода является. Значит, его надо свести к минимуму, утилизировав (стилизовав, походя, попутно приведя к виду, удобному для переработки и утилизации), оккупировав индустрией развлечений, переработав, как мусор, и сведя к минимуму.

Первым на это реагирует искусство. Произведения превращаются в вещи, стремятся уместиться в мгновение, которое утопично, как место, которого нет, неуместно, «невместно», и все — как суть изменчивости, есть и не есть в один и тот же момент (можно написать трактат об отношении мгновения и момента, как сути контр-контемпорарности и о побочных проблемах отношения представления и восприятия, явления и выражения и т. д.), сводя затраты к минимуму, в попытке вызвать наиболь-

другие дисциплины приноравливаются к слабоумию, потакая умственным сокращениям серости. Ценители мутаций. Для обывателя этих модных бредней

ший аффект и впечатление. Но они не успевают происходить, совершаться. Картинки мелькают и не задевают зрения. Тогда упрощают картинки. Музыка начинает играть все быстрее и быстрее, загоняя немислимые темпы к пределу возможностей инструментов. Так в спорте переписываются, сокращаются для большей зрелищности, правила. Но это все — на поверхности явлений. Суть в другом. (И это не тот другой, не в последнюю очередь занимавший философию всего двадцатого века.)

По фактуре свободное время представляет собой квант вечности. Он имеет внешние пределы, некую конфигурацию, параметры, кривизну, если угодно. Но по существу он беспределен и неопределен, как корпускула вечности, «свернутая в спираль волна». Попытка исчерпать его обречена. Но с целью экономии и икономии времени можно попытаться изъять его, однако это все равно, что изъять вечность, усилие требуется непомерное и, к тому же, свободное, поскольку невозможно это сделать механическим путем, только превратив его, опредметив в произведение, которое должно быть мгновенным, то есть не иметь длительности, не продлеваясь в противоречии «долго» и «ожидания». Притом изъятая вечность изымается вместе с мгновением. Оно может мерцать в Ничто. Полагая его как «никакое что», как место превращения потенциальной бесконечности в актуальную, как доведение до разрешения не только противоречия потенциальности и актуальности, но и, скажем, действительности и возможности, пространства и времени, вечности и бесконечности перцепции и апперцепции и т. д. Изъязь, мы получаем бесконечный изъязь, но не мгновение. Негация — голое отрицание — все, на что способно нынешнее мироустройство. Мгновение может длиться веками, при этом не переставая быть собой, здесь оно сродни становлению.

Самое удивительное, что любая попытка сокращения свободного времени (сокращение жизни, его уничтожение — пагубно и разрушающе, но попытка экономии в использовании не в утилитарном, а в свободном действии или деятельности, созвучной его природе, деятельности одной природы со свободой, а это именно та, которая рождает свободное время, даже не желая этого, — отнюдь, умножает пространство жизни, которая приобретает «вечные черты», а не случайные) ведет к его безмерному увеличению, когда свободное время стремится (в) к бесконечности, и это стремление важнее и вечности, и бесконечности, и той толики, стремящейся к нулю (сознательно) необходимого рабочего времени, которое тем самым превращается в свободное, не отличимое от чистого свободного времени, то есть свободу, как таковую, уходящую в основание и уносящую потребность в себе. Это невозможно доказать, как и не может понять ни один индивидуалист вкупе с эгоистом.

Оболганная коллективность, ансамблевость, непонятная без универсальной деятельности и всеобщности, и более того, смертельная для унифицированного «одномерного» человека, жертвы

достаточно. Как и оправдания моды. На кой ему истина, или, хотя бы, правда. Тот еще свет. Не надо равнодушие и безразличие принимать и выдавать за мужество и стойкость. То есть впарить можно что угодно, даже не за деньги, а так, из любви к искусству. Мистификация — вообще приоритетное направление. А если намекнуть на элитарность — то спасайся, кто может. Если исходить из пышных современных представлений об элитарности, то самые великие аристократы духа — манекены и маньякены с маникенами. От мании «мани» лишнего не говорят, многозначительно молчат, одеты от кутюр и суетных телодвижений не делают.

Но за ним поперлась вся филологическая сволочь, истрепав язык, предварительно его распутив и растлив. Столько разорения и такого паскудства, как филологи, не причинил философии никто, кроме самих философов, первыми струсивших и предавших собственную жизнь. Героический энтузиазм, когда дело заведомо проиграно и безнадежно, становится последним рубежом на пути к пошлости. Но нынче речь не о «благородном предательстве», переосмыслении как перегруппировке в обороне, а об энтузиазме пошлости, когда предательство совершается не по обстоятельствам, не по причине или случайно, а по преднамеренному желанию, с чувством, истово и сознательно. Такого в истории еще не было. Это покруче проституции. Бескорыстно. Из любви к искусству.

«общих мест». И, тем не менее, это брожение, цветение, пусть плесени, которое всегда «легко и серьезно» (Готфрид Бенн).

² Слово Коллингвуду: «Психологическая наука фактически ничего не сделала (и хорошо, что не сделала, а то бы напричиняла делов. — А. Б.) в плане объяснения природы искусства (и человека — А. Б.), как ни велики ее заслуги в объяснении некоторых элементов человеческого опыта (объяснения скорее эргономичны, приспособлены для удобства пользователя, для человека, страдающего идиотизмом, с особыми потребностями, — каков опыт, такие и потребности, выражены ли они в ожидании, или реализующиеся нахрапом, воровством и кражей, пусть даже интеллектуальной собственности, чем не гнушается и сама психология. — А. Б.), которые временами можно связать или спутать с собственно искусством. Вклад психологии в псевдоэстетику огромен, в нормальную эстетику — ничтожен». (*Коллингвуд Р. Дж. Принципы искусства / Пер. с англ. — М., 1999. — С. 83*). Отоварив искусство и, по сути, создав новую примитивную лживую дисциплину для масс, психология превратилась в подобие астрологии, благо есть спрос, составляя гороскопы для тусующихся около искусства эзотерических прошмандовок.

Писать для очистки совести? Как будто совесть это нужник или желудок. Слабительное философии. Когда-то Ильф сравнивал творчество Гюго со старым унитазом, когда вдруг с ревом сливается вода ненужных отступлений, а потом снова — мерное тихое журчание повествования.

Любая попытка шевеления — предательство. И так воспринимается, поскольку разрушает спасительное ощущение ненапрасности. Хотя понимаешь, что вокруг — философия, превратившаяся в развлечение, что конфигурации пустоты — все, что осталось. И художники, и так называемые философы превратились в маклеров. В обмелевших пространствах, где еще сохранилась иллюзия чистоты и мышления, все строится на простом доверии автору. На твоих личных пристрастиях, а в остальном: «Шик-блеск-красота! Трата-та, трата-та...» И смутно понимаешь, что так было всегда, и цепляешься за все, что на плаву, хотя бы за примитив, например, за сентенцию Коллингвуда: «Это проблема — упадок, декаданс в греческом мире (декаданс — не совсем корректно, вернее — трагедия, ввиду гибели трагедии. — А. Б.), его симптомы, его причины и возможные пути его преодоления. Среди симптомов Платон верно отметил подавление старого магически-религиозного искусства новым развлекательным искусством», и далее: «Он думает, что искусство декаданса — это искусство перевозбужденного, чрезмерно эмоционального мира. Однако на самом деле — совершенно наоборот. Это “искусство” эмоционально опустошенного мира, мира, который кажется его обитателям пустым, пошлым и застывшим. Это искусство Бесплодной Земли»¹.

Мышление по аналогии — самый плоский тип мышления. Но вполне вероятно, что приблизительно похожее отношение возникает в ощущении нынешнего. Уже Аристотель не делает из этого трагедии. Эпохи, как говаривал тот же Коллингвуд («Принципы искусства»), умирают не под барабанный бой и развернутые знамена, и совсем не под выброшенные белые флаги, а темной ночью в глухих вонючих подворотнях, так, что никто не замечает их смерти. Угроза в том, что эпоха умерла, но дальнейшей истории может и не быть. Все уповают на некую историческую необходимость, которая приведет, в конце концов, к новому Ренессансу. Может быть, да, но сколько времен загнулись тихо, не оставив следа. И не видно ничего нового и в ощущениях предыдущих

¹ Коллингвуд Р. Дж. Принципы искусства. — С. 60–61.

веков, которые, терпеливо или сопротивляясь, каналы и тоже разлагались и воняли немилосердно, но не было того, что ныне, тотального предательства. Потому что одно дело — судьба, а совсем другое, совсем не дело — сознательное предательство и вполне осознанное оскотинивание, да еще подведение под это эстетических принципов. Жизнь только обозначается, превратившись в ничью абстракцию. Тотальная абстракция своей односторонностью предает идею и становится идеологией, предписывающей не быть.

Суть в ощущении, когда рождение нового тоже воспринимается как предательство, тем более что единственная новость — это смерть.

Происходит, по-своему, редкое явление. Когда история насильственно поворачивается вспять («когда караван поворачивает назад, хромой верблюд оказывается впереди»), то пустота оказывается предстоящей, она следующая, она вторична, но неповторима, в ней — ничего подобного, но сама она подобие Ничто. И главное, что она — пустота — навсегда, в этом весь ужас. «Навсегда» и на «никогда» — персонифицированы моей жизнью и локальны. Можно, конечно, дерзко заявить: «В гробу я видел клаустрофобию», но замкнутое пространство опустошенного «хронотопа» мучительно, как защелкивание совпадающих места и времени. Година никуда не годного пространства. Ожидание после того, как. И, потому, грубо говоря, именно в пустоте чувствуешь себя глубоководной рыбой в вакууме, в Ничто — «давление можно уравнивать воображением». В нем страдают горной болезнью, агорафобией, может быть, не кессонной, а несонной, потому, что это похоже на перманентную, не творящую — вторящую в бесконечном повторе, а пустую напрочь бессонницу, когда ничего забыть нельзя и забыться тоже, как в пустоте.

И это не Ничто, которое осваивается и превращается в пространство, талантливое как таковое, когда все, что бы ты ни делал, оставляет ощущение возникновения из ничего. Нет, пустота — она всегда прошлая, и когда она оказывается неизбежной, как смерть «впереди», то навязывает свою опустошенность и неминуемость, неминуемость и неменяемость как стиль, который не избыть, а только сделать избытым, растоптанным, разоренным, поскольку никакие не то что разум с рассудком, но и здравый смысл, и простая рефлексия выдержать этого не могут. «История шизофрении». Здесь нет выбора, как в Ничто. Хотя в пустоте есть выбор мертвых прошедих форм в ассортименте. Поэтому пишут здесь о (или в) философии, литературе, искусстве в целом

из страха потерять, а не обрести, из трусости. Не стоит писать из трусости. Из боязни потеряться, не продлиться, окончиться, ввиду убегающего и скукоживающегося времени, потому что не осталось ничего. «Время без свидетелей».

Поверхность — не только то, на что мы опираемся. Но и то, что мы видим. Напыленное зрение. Наше видение так же исторично и подвержено эрозии, как и камень. Так что создание поверхности, фактуры превращается в навязчивую идею, хотя взгляду уже не обязательно цепляться за это.

И делают это либо по инерции, либо по необходимости. Ни о какой свободе нет речи. Никаких интенций, влечений — только втягивание, пустота через силу, но алчно, затягивает. Отсюда — все сделанное творится на основе пустоты, заведомо ограниченной скелетами модусов, фигур, акциденций и самой субстанции. Вымороченное, вымороженное время. Ничто — бесконечно, пустота — тотальна. Ничто — бытие-возможность, место рождения пространства и времени. Пустота — место уничтожения, могильник. Она в основании. Она вытоптана, исхожена и расхожа. При этом происходит размежевание пространства и времени, что абсурдно, поскольку они во взаимопревращении одно, не-иное.

Но это случается, и независимо, сквозь прорехи в основании, разможенном, растоптанном, размноженном, протертом до имени, пробиваются возможные и невозможные чувства, которые могут покушаться и на нынеживущих, и на прошлое, навязываясь давно умершим, хотя они ни сном, ни духом (надо понимать буквально) такими чувствами не проникались, да и не могли. Но что невыносимо для истории, то вполне переполняет искусство. То, что происходит, не происходит вовсе, повторяясь не как вечное возвращение, не как рождение вновь и вновь, но как вечное невозвращение, как одно и то же необратимое. Но время запаздывает к опустошенному пространству, а пространство оказывается не современным или несвоевременным. Начинается антагонизм и взаимоуничтожение пространства и времени в жажде иного. А оно оказывается невозможным, все двинулось вспять, в пустоту отработанного. При этом пространство подвергается чистому отрицанию, оно коллапсирует, а время превращается в чистую скорость, но без пространства, на месте, хотя места не знает. (Ницше считал, что философия — тормоз Вестингауза, наверное, тогда только появились чугунные железные дороги, «чугунка», и в восторге филолог пытался сделать неуклюжий комплимент, как если бы совре-

менники назвали философию «адронным коллаидером». Если начистоту, то настоящая «первичная» философия — неуправляемая ядерная реакция. А «вторичная» и так далее в нумерологической длинноте — это и жизнь понаслышке, и «Философия КАК БЫ» Ханса Ваингера. Забавно, но не смертельно.

Философия — не свободна, хотя бы от самой себя. Но она не может быть по принуждению. Только добровольно. Навязанный очередной идеологией образ мыслей — это для плебеев. Освободиться от предрассудков современности — тяжелая работа, и не каждому под силу.

Это дает современным творцам, если они честно следуют хотя бы своим ощущениям, некоторое небывалое преимущество — освобождение от формы. (Особенно в искусстве, когда, невероятно, но абстрактной становится не форма, а сущность, которая останавливается, замирает, полагая себя невозможной в противоречии реальности и действительности.) Правда, формальное. Оно не единообразное. Оно «всегда», как кредо великого комбинатора, поэтому они — как акулы, должны все время двигаться, чтобы не утонуть. Это чистый поиск и чистый процесс, где все совершается в противоречии восприятия и представления. Думать некогда. Все зависит от скорости реакции, от наращивания темпов восприятия в погоне за ускользящим, но предустановленным и предзаданным представлением. Все это — на комбинировании разрушенных чужих изначально форм и комбикормах различных течений, которые, если разобьются, не очень разнятся в своих декларациях. Отсутствие любой логики становится логикой современности. Это относится и к этому тексту.

Остается только прихотливая траектория, которая логику вполне заменяет. «Так случилось», так произошло. Все это, повторюсь, основывается на пустоте; опустошенность пронизывает все, как запах. Разит такой сивухой, таким перегаром отработанных форм, что начинают закусывать удилами. Начинается истерика, переходящая в овации. Хочется сказать вслед за знаменитым С. Колбасьевым: «Не доводите меня до здоровья». Особенно в связи с попытками выдать весь этот бедлам за «здоровый образ жизни». Здоровый приравняется к безмозглому. Конечно, «познание приумножает печаль». Берутся с риском для жизни переписывать историю с массой грамматических ошибок, когда проще переписать грамматику, чем их исправить. И переписывают. Потом это назовут развитием культуры. Не ретроградная — авангардная амнезия. Самое интересное, что это время кто-то может

любить, впрочем, за счет ненависти к другим временам. Времятерпимость принимают за любовь.

Все искажает вкус, вернее, его отсутствие. Всех объединяет круговой порукой безвкусица.

Интонация времени — воображение, а не его внутренняя форма. Эпоха без интонаций. Без обертонов. Отрицательное воображение. Лишенность и лишность воображения, и, как следствие, воображаемое время, которое медленнее медленного. Парадокс: при возрастающей скорости впечатлений — полная, сходящая на нет, потеря скорости восприятия. Противоречие между деятельностью и неожиданным, когда уже ничего не ждешь, и в опыте происходящее не предвидится. Авось, вдруг. И небось.

Потерял голос, сорвал, но не соврал. М. Бланшо: «Тебе доверен голос. А не то, что он говорит. То, что он говорит, — накопленные и переписанные тобой, чтобы отдать им должное, секреты, — ты должен, невзирая на попытки тебя соблазнить, мягко вернуть к молчанию, которое поначалу у них почерпнул»¹. Исчерпать молчание. Забыть забвение. И все начинается не с начала — с повтора.

Как уже говорилось: писать строкато, стаккато, на папиросных коробках (объяснить, что такое папиросы, труднее, чем что-то такое писать на...), на манжетах, на спичечных коробках, в стол, в записные книжки, пофразно, пословно, дословно, послесловно, мимо, так, чтобы смысл был между ячейками фраз. И объяснять, что такое сеть, а не Сеть. Этот нудеж повторений, как невозможность сбыться, а только избыться — вроде описания климата.

Современное философствование — заметки френолога.

Нет. Дневник старой девы, почтительное отношение к своему маразму: встала, какие сны снились, какой стул, запор. Завтрак, съела яйцо всмятку, жиденькую кашку, выпила чай и так подробно, поминутно, изо дня в день, потому что важнее ничего нет и не было. А то, что миллионы гибнут, что все катится в тартарары, что дети в мире мрут от голода, что фашизм — это не важно, главное — запор. И бредовые воспоминания о том, чего никогда не было. Все это скучно, но многозначительно, с сознанием своего пребывания на земле. В ожидании конца. «Когда ожидание не ждет и разворачивается как время» (М. Бланшо).

¹ Бланшо М. Ожидание, забвение // Бланшо М. Полн. собр. малой прозы. — С. 447.

Все требуют «позитива». Напишите, какие мы красивые и хорошие. Самые-самые. Вы самое самое оно. Даже микроорганизмы обладают качествами, а здесь все без свойств. Хотя у какого-нибудь ботаника может вызвать неописуемый восторг. Представьте. На какой-нибудь удаленной планете нашли органические соединения. Радости нет границ.

Над этим миром стыдно смеяться. И смотреть на него не гигиенично. Взгляд мутнеет и начинает устойчиво вонять.

Время как житие. Выживание из ума. Времяжитие. Времянка.

Эволюция? — вырождение взглядов. Козлиная песнь торжествующего плебея. Ницшеанство. Я сам, как и все, был увлечен Ницше, пока не перестал быть обывателем. Песнь козла — еще не трагедия. Дезертирство из своего времени в свое время.

Попытка обратить внимание в бегство. Превратить внимание в побег из времени. Сила привычки вполне заменяет силу воли. Сила силу ломит. Все лучше, чем ожидание в остановленном, оставленном, брошенном, непрошеном случае.

«Нагноение ожидания, скука. Застойное ожидание, ожидание (как ожирение времени. — А. Б.), которое сразу сочло себя своим предметом (забыло тебя напрочь. — А. Б.) проникнуто (поникнуто, увядает необходимостью) к себе снисходительностью и, в конечном счете, ненавистью. Ожидание, спокойная тоска ожидания; ожидание, ставшее спокойно протяженностью, где представлено в ожидании»¹. Где все оставлено в ожидании ожиданию, дальнейшее безнадежно, но зато неожиданно. Нежданно как случай. Вопрос о том, что ждать больше нечего, уже не стоит. Вопрос не стоит. Он валяется. И тогда попытка мышления — не интеллектуальный туризм, как сексуальный или туршоппинг, — это бродяжничество без цели и смысла, которое еще сохраняет виды на свободу от самой свободы. Если время — отсутствие, лишенность, то лишенность и отсутствие самого времени порождает ультравремя, контрвремя, инфравремя, но не вечность. Супервремя — суперпошлость. И шляние в надежде, что развернется пропасть, непременно пропасть, глубиной в смерть, чтобы ужаснуться (отсюда современная жажда экстремальных развлечений ради адреналина, в том числе и увлечение философией). Откроется в открытии.

¹ Бланшо М. Ожидание, забвение // Бланшо М. Полн. собр. малой прозы. — С. 473.

Воображаемая отверстая пропасть, воображаемый канат. Одно дело — идти по воображаемому канату над пропастью, настоящей бездной. Другое дело — по настоящему канату над воображаемой пропастью. И есть еще жуткий путь по воображаемому канату над пропастью воображения, когда, сорвавшись в пропасть, пропадаешь из виду навсегда. Зрение схлопывается. Со скоростью утраченного света. Опасность не в пропасти, опасность в себе. Время нынешнее утратило все возможности. Возможность воспринимается как возмездие, как возможные последствия. Возможность, как все возможные последствия и невозможность. И как предвосхищение. Ранняя свобода. Невозможное настоящее. Последствия возможности. И, наконец, останавливается в отчаянии, которое пристало бы богу. Если бы он был. Ведь бог имеет все возможности, кроме одной — единственной.

В таком случае слабый человек превращается, как остроумно заметила одна мыслящая девушка, в «богоснабженца-постачальника», снабжая старца человеческой кровью. Остается экзегеза, трактовки и комментарии к застывшей и окаменевшей «мудрости», которой приносят человеческие жертвы. Проблемы надутые, как намоленные, и надуманные, как надутые. Не стоит спешить от них избавляться — они могут в своей бессмысленности помочь освободиться от мертвечины настоящего. В конце концов все великие открытия начинались как баловство. Только здесь предстоят не открытия. Здесь сочиняют и дают жизнь иным человеческим чувствам. Здесь создают поверхность. Учат чувства сопротивляться и заставляют силу времени работать на всю глупину, как будто научились использовать энергию приливов и отливов времен.

Время кустарей-одиночек прошло безвозвратно. Собственно, его никогда и не было. Все, и греческие философы, и любые персонажи истории философии, были одиноки, но настолько, насколько можно одиночество испытывать в сверхплотном пространстве философии, где возникала личность. Помимо ее воли, не заботясь о причине, спонтанно. Сейчас индивидуализм в корчах умирает, держась только на идеологии эгоцентризма. Когда говорил о единстве чувственного и рационального, снимаемого при помощи воображения в рассудке и персонифицированного в «единстве трансцендентальной апперцепции», единстве самосознания, он, индивидуум, предполагал, что для того, чтобы было «дальнейшее», а не следующее, необходимо преодолеть на определенном этапе убогую форму своего «Я», совлечь ограничения рассудка (чья

заслуга в том и заключается, что он очерчивает собственные границы и показывает пути преодоления), и здесь лежит ясно видимая проблема противоречия необходимости, свободы, случайности и долженствования воли, времени и пространства и т. д. Но последователи откорректировали тезис, невзирая на слабые возражения Канта, и, заворожённые возможностями «Я», абсолютизировали его, превратив в частную собственность. Казалось бы, почему нет? А потому, что невозможно распространить отношения собственности на стихию, присвоив развитие, узурпировав бесконечность.

Не буду пересказывать перипетии дальнейшего, они в общих чертах достаточно известны (хотя в качестве некоего испытания можно было бы каждого заставлять пересказывать своими словами, как он представляет это, много интересного узнали бы). Однако в данный момент главное, что, во-первых, возникает вопрос о происхождении дихотомии категорий и пути разрешения противоречия, лежащего в основе, т. е. снятия противоречия, а во-вторых, о множественности времени, его одновременности, не параллелизме. Ветвистости, развитию (!) времени (как возможно развитие времени вплоть до его самоисчерпания? когда время «пришло»), его становлении (!!!!) (становление времени по самому факту, что становление вне времени и пространства невозможно), и, как побочная партия: почему современные тексты не развиваются, не растут, а просто разбухают, хотя это разбухание обладает разрушительной силой (как намоченный горох). И одновременность может быть единовременностью, когда времена снимаются в едином, а может быть понято как дурная множественность, когда одно время тиражируется в одной и той же определенности. Или понято вульгарно. Как *Gleichzeitigkeit* — жаргонное «одновременность», «неординарность», выходящее из последовательности. Единое как множественное. Но из множественного единое не создается, не лепится. Множественное множится, не срастаясь.

Не стоит писать из трусости. Из боязни потеряться, не продлиться, окончиться, ввиду убегающего и скукоживающегося времени, потому что не осталось ничего.

Узурпация зрения. Узурпация сознания. Узурпация формы. Оккупация жизни.

Сейчас часто по прошествии двадцати-тридцати лет сетуют, что в советские времена не давали писать и говорить правду. Сейчас дали, но что-то

не наблюдается обещанных шедевров. Если вы такие принципиальные, то сожгите свои дипломы, начните сначала, пишите новые диссертации, честные. Но диплом — не партбилет. Его жальте.

Ранняя свобода. Она смертельна и грозит воспалением легких. Поэтому современность изо всех сил культивирует разного рода зависимости, примеряясь к обстоятельствам. А они исчерпались и исчезли, они больше не ближайšie причины, с которыми надо считаться. Множество путей — и ни один из них. Лишних возможностей хоть отбавляй, а все же не бывает.

Рядомвременность многовременности и одновременность (которая «есть субстрат всякой смены» по вполне логичному доказательству И. Канта¹. И последовательный вывод, который он не сделал, что субстанция есть движение и в этом — ее единство и материальность, так что время может восприниматься само по себе как прафеномен свободы в реальности исчезновения. Одна из самых красивых проблем философии — вопрос о разнородности времен и возможности их одновременности. За неимением места оставим ее на полях). Ряд последовательностей дискретен. Псевдовременность. Чувствуешь себя как совестливый композитор в электронной музыке по отношению к профессиональным программистам. Наверное, в математике этот вопрос числен и решен в общем виде. Хотя чистая математика еще только становится философией, поэтому не ей «алгеброй поверять музыку». Время в математике и математических моделях никакого отношения ко времени переживаемому не имеет. И так же неуютно, как поделившемуся своими впечатлениями от мрачного Берлина Йошиказу Икеди, замороженному чуждостью как таковой в «Очаровании неуютно-жуткого».

Однако, речь идет о качестве времени и чувстве времени, но также о фактуре и онтологии времени и пространства. Ошибочное решение Канта вполне работает в метафизике искусства, но уже в диалектике неприемлемо, хотя и присутствует в снятом виде.

Возможность как основание, как принцип, и как возможные последствия. Возможность без причины и причиненная возможность с внешней необходимостью. Возможность самой возможности. Невозможность самой возможности.

¹ См.: Кант И. Критика чистого разума // Кант И. Собр. соч.: В 6 т. — М., 1966. — Т. 3. — С. 274–278, 149, 225, 253.

Воображение — больше свойство рассудка, который сам оказывается предрассудком. (Что заставляет пересмотреть традиционные представления Локка, Канта, Беркли и др., — не для того, чтобы опровергнуть, ни-ни, а чтобы оставить их нетронутыми, без изменений, до лучших времен.) Потеря памяти и разума, подменяемых чужой эрудицией, которая к тому же является дезинформацией. Erudition (память), speculation (разум). Тройной перевод и накопленные, а затем узаконенные ошибки: сначала с древнегреческого на латынь, потом с латыни на немецкий, и, наконец, на русский со всех языков разом.

Но это ошибочное прочтение оказывается более действенным, чем язык оригинала, забивший омертвевшими, окаянными формами трахеи европейской философии, так, что она не может дышать. Так, в европейской философии не могут поставить вопрос об отношении прекрасного и красоты, о противоречии чувства и чувственного, да мало ли, найдите сами, Европейской философии просто нечем говорить. Кроме как неимоверным сленгом и неопрятным языком, развязным и нечистым, с чудовищным акцентом. Какой там Кастальский ключ, — кокни, суржик, освежаемый легким матерком как символом демократичности и неповторимой аутентичности.

А с усиливающейся тенденцией к упрощению и общеупотребимости, от примитивов американской, с позволения сказать, мысли, то думать там скоро и вовсе перестанут. Тенденция эта давняя. Но неумолимая. От Талантливого человека не зависит ничего. Достаточно вспомнить, какие постыдные работы Т. Адорно писал, будучи в эмиграции (об авторитарной личности, лекции по морали и т. д.), да и Набоков своими лекциями по литературе заставляет краснеть, таких примеров сотни, если не тысячи: и в кино, и в драматургии, и в современной музыке. Я считаю, что весь этот интернат для детей с особыми потребностями под названием «гуманитарные науки США» надо игнорировать, то есть не требовать невозможного и ничего не ждать. Европу и нашу философию погубит не колорадский жук, а сами продавцы краденного, задушив себя в своих собственных крепких интеллектуальных объятиях. Узники совести. Жертвы имперского режима. Так было всегда, бог знает, с каких времен. «Немногих, постигавших суть вещей / и открывавших всем души скрижали, / сжигали на кострах и распинали, / как Вам известно, с самых давних дней» (Гете). А если взглянуть на историю, то моторошно вспомнить, что творили с теми, кто не предавал философию и себя. Сократ, Зенон, Эмпедокл...

Не о чем говорить. Куда ни глянь, хоть вслепую ткни пальцем в историю. Первый попавшийся текст:

Шеллинг — Гегелю, Тюбинген, 21 июля 1795.

«Деспотизм наших философских ничтожеств, я надеюсь, окажется под сильным ударом благодаря этим изменениям (деятельность и просвещенные умонастроения нового герцога). Трудно себе представить, как много вреда принес этот моральный деспотизм: если бы он просуществовал еще несколько лет, то он бы подавил свободу мысли в нашей стране сильнее, чем это была бы в состоянии сделать любая форма политического деспотизма. Невежество, суеверие и фанатизм постепенно принимали обличье нравственности и, что еще более опасно, обличье просвещения. И, конечно, скоро наступило бы время, когда каждый пожелал бы возвращения времен самой мрачной тьмы; ибо пределы, начертанные этим мраком, значительно шире границ, которые установило вокруг нас упомянутое полупросвещение. Речь никогда не шла о знании. Об уме, вере, речь шла о моральности: обсуждения знаний, талантов никогда не было, рассуждали только о характере. Никто не хотел ученых, хотели лишь морально верующих теологов. Философов, которые могут делать неразумное разумным и издеваться над историей»¹. Возмущенные слабоумные третируют Фихте и Шиллера. Впрочем, как и сейчас, невзирая на историю. Находятся умники, которые приписывают романтизму фашизм, индивидуальность идеи и романтизм как самодостаточность принимают за проповедь сверхчеловека (хотя это всего лишь неприятие недочеловека, причем идея исчерпала себя тут же, поскольку явственно показала, что индивидуализм — это смерть до рождения), и Гегеля пинают только за то, что о нем упоминал Маркс.

Решительность, счастливая беззаботность, безответственность. Вряд ли у нынешних хватит сообразительности воспринять угрозу со стороны философии. О каком «ученом незнании», — с удивлением прочел, что точный перевод «О вразумленном неведении» (Н. Кузанский), прежний перевод точнее, — можно говорить, о каких деталях? Мы имеем дело уже даже не с впечатлением, а напечатлением, что странным образом превращает все если не во вранье, пусть откровенное (хоть что-то), то в искусство сочинять (но, по утверждению му единообразному образцу, модных некогда письмовников. Это даже

¹ Гегель Г. В. Ф. Работы разных лет. — Т. 2. — С. 226.

не «рыба» под документ, а скорее прошение о вспомоществовании). Напечатание на вещах — signature rerum — внешняя форма вещи, через которую бог сообщает знание о сокровенной сущности этой вещи. Уже и не вещи, сквозь прорехи и лохмотья которой видится чистое движение превращения самого превращения.

Есть тексты самодостаточные и автономные, а есть тексты, которые требуют предательских разрывов со всей предшествующей культурой или снятия ее имплицитно, эминентно, во всей полноте. Они, как детонатор, делают равнодушный тротил лежалых времен взрывоопасным. Есть тексты отсылающие, резонирующие со всей культурой, но и читаются они только тогда, когда необходимость в них так и не случилась.

Добросовестность, добровольное рабство. Свобода и независимость. Культура подменяется халтурой во всех смыслах. Созерцание раскурочено и измеряется коэффициентом преломления, почти вычисляемым по формуле. Любовь к независимости чревата деспотизмом. Было бы понятно, если бы это был каприз: «Я так хочу!» Но похищены и желания. Жажда адреналина и подспудное требование цензуры хотения. Однако нарушать больше нечего. Пресыщенность пустотой. Забвение как усилие воображения. Домогаться истины больше нет нужды, нет ее и в самой истине. Достаточно фантазии, слепой и не такой уж необходимой, никакой. Ни свободной, ни случайной — произвольной; достаточно воображаемых чувств, — нет, с чувствами слишком сложно, — достаточно ощущений. Причем воспринимается это неприятно, в смысле, неприятием. То, что неприятно — предпочтительнее. Поскольку очерчено более-менее ясно. Это не сложно — элементарно, и потому сознательно запутывается, зашифровывается. Нет необходимости разбираться в сложившейся ситуации (а ситуационные решения преобладают. Для вящей остроты можно предложить новоиспеченным литераторам набор юного аматора-крематора: «Сожги рукопись сам» и в подарок — маленький храм Артемиды и сувенирный бюстик Гоголя с чернильницей, декоративным пером и затейливой надписью наискосок: «Рукописи не горят», стилизованной под почерк М. Булгакова в качестве утешительного приза). Воображение играет роль сорбента при недержании. Удерживает от необдуманно написанного в большей степени, чем способствует сочинительству. (Об этом тоже писано-переписано. Жюль Бенда «Измена клерков», Арчибальд Маклин «Безответ-

ственные», — все мы «Сумереченники».)

Прерывность-непрерывность — одновременность как единый процесс превращения. Кантовское различие между основанием бытия предмета и основанием его познания, между реальным и логическим основанием, и действительным. (В сущности, между познанием и основанием, действием и бытием разницы нет.)

Мысль Лейбница о четырех модификациях истинности, но не истины — эмпирическая, логическая, трансцендентальная и металогическая, и четыре отрицания — реальное, формальнологическое, математическое, антиномически-разумное. Для искусства достаточно, но недостаточно для жизни.

«Воля есть кантовская вещь сама по себе, а платоновская идея является адекватным и исчерпывающим знанием о вещи самой по себе. Именно идея есть ключ к постижению ноуменального мира, в котором царит воля. Вещь в себе не существует без вещи для нас, в этом случае она не случайна и, во всяком случае, она не вещь».

Закон достаточного основания (общее место) по Лейбницу: «В силу закона достаточного основания мы усматриваем, что ни одно явление не может оказаться истинным или существующим, ни одно утверждение — справедливым без достаточного основания того, почему это именно так, а не иначе». Но в более лаконичной форме это выразил Хр. Вольф: «Ничто не существует без оснований того, почему оно есть». По Гегелю, «есть» — абстрактная бессодержательная связка. «Бытие есть простая бессодержательная непосредственность»¹. Формальная логика, чистая абстракция, которая оправдывает искусство в любом виде.

«И, так как все имеет основание, неизбежно встает вопрос “почему”. (Все нуждается в основаниях, кроме искусства, которое избегает формальных оправданий, но и диалектических тоже. Оно не отвечает на вопрос “почему” — в этом его философия. Которая в своей сущности стремится к тому, чтобы тоже не задаваться вопросом и быть беспричинной. — А. Б.) И это “почему” Шопенгауэр называет матерью всех наук. Вопрос бесконечный и неисчерпаемый. А закон достаточного основания, который к нему причастен, доказан быть не может. Тот, кто требует это доказательство, образует порочный круг,

¹ Гегель Г. В. Ф. Работы разных лет: В 2 т. — М., 1973. — Т. 1. — С. 95.

ибо требует доказательства права требовать доказательства. Бесмыслица особого рода». (С этим до испуга просто, но без упрощения, разобрался в, казалось бы, детской книге, посвященной биографии Шопенгауэра, А. Гулыга¹. Хотя я — не большой поклонник такого рода литературы, предпочитая первоисточники, но надо признать, что по части биографий и в качестве пропедевтики книги Гулыги являются непревзойденными образцами стиля, такта и утонченности.)

Утрата чувства времени, прежде всего, в чувствах. (Хотя вся мировая философия до сих пор копошится в противоречии чувственного и рационального, и смутно догадывается, что чувства и чувственное — не одно и то же, и что развитие чувств в единое еще только предстоит.) Но уже сейчас, случайно, в единичных случаях, чувства прорываются сквозь перерывы постепенности, в прерывно-непрерывном деянии своего происхождения, осуществляясь как тотальность. (Если и сбудется видение современника Канта И. Н. Тетенса «О всеобщей спекулятивной философии», грезы тотальной философии, — хотя она и так всегда тотальна, — то только как трансцендентальная эстетика, когда чувства становятся сверхчувственными «непосредственно в своей практике», переосуществляя чувственное в человеческое, превращая время в вечность, как это пытается делать искусство.) Однако сейчас, и это распространяется на все прошлое, где и в помине нет речи о чувствах, происходит превращение времен вопреки природе развития. Феноменальный и ноуменальный мир чувств совпадают, минуя эмпирический опыт.

Почти каждый, кто с этим соприкасается, начинает суетиться, шарахаться или степенно отступать в себя, сторонясь беспощадности чувств, а они полутонов не терпят и жестоки в своей абсолютности.

Нам остается только отрицательность, которая свертывается в иронии, в своей тщедушности, достаточной, чтобы выразить абстракцию этого плоского мира. То же можно сказать и об основаниях, достаточно формальных, коль никакого развития нет. И лишь всепоглощающая стихия становления позволяет дышать воздухом свободы, которой нет, только потому, что если она и будет, то на основании становления, а формы не играют никакой роли. Точно так же, как с абсолютной красотой. Если она красота и абсолютная, то она есть

¹ См.: *Андреева И. С., Гулыга А. В.* Шопенгауэр. — М., 2003.

всегда, это мы, отказом, от нее отстраняемся, изо всех сил создавая без-образное. Мы ошибочны по способу дела, и потому — по происхождению. Кант писал в знаменитой работе «Опыт введения в философию понятия отрицательных величин»¹: «Ошибки есть отрицательные истины (не следует смешивать это с истинностью отрицательных суждений), опровержение есть отрицательное доказательство», и далее: «Известно, что они (философы) рассматривают зло как простое отрицание, между тем как из наших объяснений явствует, что существует зло как отсутствие (*mala defectus*) и зло как лишение (*mala privationis*). (Приватизация — не обретение, а лишение, которое есть время — *stere-sis* по Аристотелю. — А. Б.)

Первое есть просто отрицание, и для полагания чего-то противоположного ему нет никакого основания; второе, напротив, предполагает положительные основания для устранения того блага, для которого имеется другое основание, и оно поэтому есть отрицательное благо. Оно гораздо большее зло, чем первое. Не дать (что-то) — значит причинить зло тому, кто нуждается (в этом), но отнять, вынудить, украсть (приватизировать. — А. Б.) будет гораздо большим злом; изъятие есть отрицательное деяние»².

Воображение как потеря, развоображение. Действительное отрицание и видение истины как ложного. Сводя к минимуму. Например, любовь — к физиологии, мышление к химии, живопись к иллюзии, музыку к физическому процессу.

«Поэтому я говорю: Всякое исчезновение есть отрицательное возникновение, т. е. для упразднения чего-то положительного, что существует, в такой же мере требуется подлинное реальное основание, как и для того, чтобы его произвести, если его (еще) нет»³.

Ни возвышенного, ни прекрасного. (Противопоставление возвышенного и прекрасного как контрастирующих и взаимодополняющих категорий было намечено Псевдо-Лонгином и переосмыслено Э. Берком⁴). Бытия нет как нет.

¹ Кант И. Собр. соч.: В 6 т. — М., 1964. — Т. 2.

² Кант И. Собр. соч.: В 6 т. — М., 1964. — С. 97.

³ Там же. — С. 105–106.

⁴ Кант И. Критика способности суждения // Кант И. Собр. соч.: В 6 т. — М., 1966. — С. 161–546.

Есть пребывание и отбывание, переставание быть собой. Субсистенция — пребывание на месте в движении. Локации дислокации.

У любого автора все, написанное честно, представляет собой отважные, робкие, исполненные сомнения попытки отрывочных писем самому себе или неведомому адресату неведомо куда, то ли в прошлое, то ли в будущее, в попытке скорее отделаться, чем докричаться.

Часто клочки и строки, слова оставляют позади, чтобы найти дорогу назад, вернуться, часто пускают на ветер или в потоки времен. Все остальное — графомания и мусор. Смыслы доходят с опозданием и устаревают раньше, чем были записаны или зафиксированы. Мысль ловится запаздывающими словами, сквозь которые «еще пробивается немного дневного света» (М. Бланшо), но мысли они не проясняют.

Иногда имеешь дело с собственной мифологией и доверием к авторитетам. Если посудить здраво, то Кант¹ или, скажем, Аристотель («Жена — женщина, принадлежащая своему мужу», и прочие наивные речи) пишут столько ахинеи, что диву даешься, но пылливый ум принимает явную чушь за скрытые знаки и находит за ними бесконечные просторы, которые действительно скрыты нашим воображением, имеющим дело не с действительностью, но с действительным воображаемым бытием, с создаваемой действительностью. «Неторное пространство страха»². Что делать, если нет даже влечения свободой? Что возникает в апокатастасисе, в восстановлении прежнего в ином пространстве и времени?

«В мире, кроме форм движения, ничего нет и познавать больше нечего», как говорили классики (кстати, любимая фраза Валерия Алексеевича Босенко).

¹ Дико выглядит многое из написанного Кантом, скажем, «Наблюдения над чувством прекрасного и возвышенного» (особенно вырванное из текста, контекста, исторического времени и пространства, рассматриваемое, как kern, изъятый глубинным бурением, якобы в стерильности, но уже зараженный нашими представлениями, заложенный комментариями, позднейшими напластованиями языка и неверным зрением, которое восстановлению не подлежит). Да и в более поздних произведениях. Чего стоят сентенции вроде «Смех, вызываемый щекотанием, в то же время весьма мучителен» (*Кант И.* Приложение к «Наблюдениям над чувством прекрасного и возвышенного» // *Кант И.* Собр. соч.: В 6 т. — М., 1964. — Т. 2. — С. 211) или «Удивительное и редкое. — Теперешнее устройство жизни таково, что женщина может жить и без мужчин, что портит всех» (Там же. — Стр.188),

Вся суть в том, что становление как единство бытия и ничто — вне пространства и времени. Они внешни ему, причем всегда. Оно — до них (но нет еще этого «до»), и от пространств и времени не зависит, порождая формы наличного бытия как способ самовоспроизведения обращенного на себя становления. В предметной форме кажется, что развитие происходит от бытия к бытию, а на самом деле — от ничто к ничто. Превращение превращения, когда мы получаем свободу превращать все во все и в сущее настоящее. И управлять временем и пространством как следствиями деятельности в любой форме. Они сами являются формой и содержанием, производными, не удерживаемыми пространством и временем, а выводимыми в процессе развития. Пространство

или совершенно беспомощные строчки, с которых начинается этот опус: «Искусство казаться глупым у мужчины и искусство казаться умой у женщины. — Человек может оказывать двоякого рода выгодное впечатление, а именно внушать уважение и любовь; первое — через возвышенное, вторую — через прекрасное. Женщина сочетает и то и другое. Это сложное ощущение составляет величайшее впечатление, которое только может произвести на человеческую душу» (Там же. — Стр. 187). Читается как сборник курьезов. И закрадывается нехорошее подозрение. Что, если все его творческое наследие пропитано такой «мудростью», а вдруг? Можно смеяться. Но можно безо всяких усилий считать, что старец далеко смотрел (если учесть, что я гораздо старше «старца» на момент написания им цитируемых строк). Тут задача восхититься во что бы то ни стало: глядишь, что и прояснится. Так что уже горестное заявление: «Немалый вред, причиняемый потоком книг, ежегодно наводняющим нашу часть света, состоит, между прочим, в том, что действительно полезные книги, всплывающие время от времени на поверхности широкого океана книжной учености, остаются незамеченными и должны разделить участь прочих отбросов — быстро погибнуть» (Там же. — с. 204) снисходительной улыбкой не взывает, а уж по мелочам — так только почтительное молчание, например, когда он ратует за «логический эгоизм; умение стать на свою точку зрения» (Там же. — с. 192). При этом надо почтительно и осторожно обходить чужие мнения. Идти, стараясь не наступить на чужую точку зрения, которыми заминированы окрестности танкоопасных направлений, но не минами, а тем, что от стада осталось. На лугу множество троп, и все ведут в хлев. И пережевывать жвачку времени, испытывая Нежную Тупость, утонченную или возвышенную, как «Нежный-тупой-тонкий вкус» у Канта (Там же. — с. 187). Не говоря уже о странно современных (в худшем смысле этого слова) и невероятно остроумных (может, и нет там никакого остроумия, но очень хочется написать «Об остроумии у Канта») местах в его творчестве.

² Бланшо М. Ожидание, забвение // Бланшо М. Полн. собр. малой прозы. — С. 467.

и время как атрибуты свободного движения обретают онтологический статус, который подтверждает бытие ничто и его действительность, возникновение и исчезновение, всеобщее и единичное, единичное и особенное, но не всеобщее и обобщенное, универсальное и унифицированное, которые находятся в антагонизме. Пространство и время превращаются в инструмент, которым чувства действуют, а не только ощущают своими атрибутами. Они ощущают пространством и временем и превращают их в чувство, которым чувствуют себя — пространством и временем пространство и время, где последние — в противоречии, уже разрешаемом. Чувства в пространстве и времени самопорожденными обретают собственную субстанциональность, только потому, что мнят, что последние являются их состоянием, «внешними и внутренними формами созерцания», этого достаточно для искусства, но это не так. (Эстетизация благосклонно и молчаливо принимается в качестве бонуса и лакировки действительности, сдерживающего фактора, чтобы реальность не так бросалась в глаза, не так бросалась. Эстетика работает как анестезия. Об этом — у Марквада Одо: «Апология случайного», «Эстетика и анестезия», «Скепсис в современную эпоху», «Искусство как антификция — опыт превращения реальности в фиктивное», «Апология случайного» и др. К слову сказать, указанные работы я читал.)

То, что становление вне пространства и времени (приводит в смятение и шокирует сколь-нибудь грамотного и знакомого с философией человека, а уж то, что это относится к самому развитию, а не учению о бытии или теории познания — ввергает в ступор. Хотя деление сугубо школьное. Причем, и тех, кому нет необходимости доказывать, что пространство и время являются атрибутами движения, всякого, в любой форме, а не только формы созерцания) или безразлично к ним, знали всегда, во всей платонической традиции и даже раньше, знали это и в древних культурах Индии, Китая, и в Древней Греции, и позже, в неоплатонизме и средневековой схоластике, но не придавали этому значения. Точно так же, зная линейную перспективу, не считали нужным ее анализировать, как не истинную, иллюзорную. Само собой разумелось, что дух времени не подвластен. А поскольку все сущее было прерогативой духа, он неизменно, но развивался, и все дело было деянием духа.

И, как пассивное созерцание, естественно, становление не было подвержено времени, да и активное, деятельное созерцание построено на сформир-

рованном восприятии. Хотя впоследствии выяснилось, что и самосозерцание развивается и исторично по сути. Весь смысл — в его исчезании и утрате, в снятии. Так что деятельное созерцание, когда взглядом и словом останавливали Солнце и обрушивали звезды, воспето и опозитизировано всей историей философии (о Немецкой Классике не говорю), и это и сейчас остается абсолютным мерилом для истории и современного искусства, которое, впрочем, предпочло дешевый психологизм для оправдания бездарности: так, на всякий случай.

Однако, дух — метафизичен и самодвижения не имеет, хотя и изменчив. Все дело в том, что, действительно, движение есть источник пространства и времени, в которых происходит, и сердцем этого движения и развития есть становление. Которое «до» и «прежде» (но о своей прежности и прошлости до происхождения еще не ведает, пребывая в абсолютном движении. Форма — «потом» и «опосля» — наличное бытие остается, а не происходит) формы наличного бытия и не является становлением чего-то.

Так что весь мир форм в прошлом, в прошлом, оставшемся развивающимся, происходящим в настоящем здесь-сейчас, как воспроизводящее себя становление в одной и той же определенности. (Прошлое развивается в настоящем настоящим, а настоящее может быть не предзаданным прошлому, оно ему не указ. К вопросу о предопределении и самоопределении прошлого.) Поэтому здесь можно осуществить прорыв и к чувствам, и к абсолютной красоте, и к человеку без пределов и границ в его сущности, независимо от оснований и без заданного масштаба, безусловно, даже если к этому нет никакой необходимости, свободы и причины. Опасность в том, что это имеет обратную сторону, позволяя прикоснуться к абсолютному злу, синхронизируя его с бытием и оправдывая тем, что оно — необходимый элемент развития.

Более того, оно не только дает свободу чувствам, но и позволяет властвовать над ними, вызывая страсти, в том числе и низменные, которым не достанет сил противиться. Власть над превращением превращения, без какого-либо масштаба и ограничений, без ответственности. Выращивание ложных чувств и ощущений — это странно. Но, по-прежнему, довольствуются малым, поскольку достаточно (остаточно) для нужд рассудка просто объяснять мир, который «так устроен» по природе, что время — всего лишь внутренняя форма созерцания, а пространство — внешняя. И время само вне времени, тогда как

в ином варианте время во времени изменяется и носит совершенно разный характер, разную фактуру и обладает разными свойствами.

Сейчас, когда мы копошимся среди многоукладности растрощенных в пыль локальных времен, когда время просто плодится путем деления и создания нетостей, разрывов, трещин, брошенных отрицаний, не доведенных до разрешения противоречий... разобраться в этом трудно (да и ни надобности, ни желания такого не наблюдается, сугубо усилие воли заставляет исследовать впрок, и когда возникнет потребность — неведомо), если не невозможно. Весь это селевой поток принимается как данность, как явная катастрофа, и задача ставится узко, не о развитии речь, не о становлении, но лишь о систематизации и типологизации времен и их агрессий в попытке объяснить мир, чтобы защититься, хотя объяснять нечего. Здесь бессмысленно «использовать» становление, даже как эстетический мотив (его вообще использовать нельзя, тем более как отмычку, консервный ключ, скальпель или автоген, ацетиленовую горелку, хотя если очень хочется, то можно, но предназначение его в другом). Его задача — не вскрывать, а превращать, например, чувства в деяния, время в произведения искусства, все во все. Единственная опасность, что мы не знаем, во что это может разрешиться, создавая из ничего человеческие, слишком человеческие невиданные чувства, когда чувствуют поэзией, а не поэзию, музыкой, а не только музыку. Философией, и не ею одной, не ее одну, и т. д. Чувства теряют предметность, так что можно чувствовать музыкой живопись, философию, поэзию, и любым фрагментом без умаления во всем его абсолютном целом, то есть ровно столько движения, сколько соответствует сущности, минувшая качественную и количественную определенность. Как и живописью чувствовать музыку или философию, и так далее, во всех возможных и невозможных взаимопревращениях. Но коль скоро это так, то они уже достигнуты, и следующий прорыв — в единое универсальное чувство, которое не ограничено формами наличного бытия, пространством и временем.

Все это относится и к чувствам тоже, теряющим определенность по предметности и предметностью, и к созданию единого чувства, где все — лишь различные проявления этого единого движения, где чувства не отличают себя от деятельности и не отчуждаются в особую область, в резервацию. При этом стоит напомнить, что отчуждение в его первоначальном смысле означает выведение общинных земель в частную собственность. И это проклятие част-

ной собственности лежит и на чувствах тоже. Присвоенное чувство обречено, оно заражено временем. (Я уже пытался ответить на вопрос, почему бес- смертные, в сущности, чувства умирают?¹ Но напрасно и тщетно. Там откры- ваются такие преждевременные проблемы, что их современному человеку решать еще рано. Они смертоносны. Хватило бы сил пережить уже снизошед- шие к нам чувства.) Вопрос об освобождении чувств остается открытым, хотя и снимается вопросом о создании и чувств, и свободы как пространства их развития, вплоть до их превращения в единое, когда они сами становятся сущностными силами. Но мы застаем, вернее нас застигает, настигает, захва- тывает врасплох, несмотря на ожидание («когда ожидание не ждет и развора- чивается, как время»². «Невозможность ждать по самой своей сути принадле- жит ожиданию». «Ожидание начинается, когда больше уже нечего ждать, в том числе и конца ожидания. Ожидание не ведает и уничтожает то, чего ждет. Ожидание ничего не ждет. Сколь бы важным ни был предмет ожидания, движение ожидания его бесконечно превосходит. Ожидание делает все оди- наково важное одинаково тщетным»³. Движение ожидания — неподвижно. Современность позволяет «невыразимую печаль» упразднить, столкнув в од- ном абзаце «Оставь надежду всяк, сюда входящий» и «с утра я рад, чего-то жду, ура-ура, я в цирк иду»), всегда внезапно (превращение неумолимо, как смерть), даже если процесс становления длится тысячи лет (оно длительности не имеет, являясь мгновенным), заставляя изменять уютной природе суще- ствования — стихия. Которая воспринимается как разрушение. Превращаться больно и страшно, потому, что ты не знаешь, в кого, и чем будешь расплачи- ваться за новые неограниченные ничем, кроме твоей воли, возможности. Только твоя воля будет противостоять твоей воле, не считаясь, желаешь ли ты или нет, знаешь или нет, обладаешь ли волей или она присваивает тебя. Необходимость здесь теряет механическое значение и выступает Судьбой, с ней можно сражаться: «Я схвачу свою судьбу за горло и сокрушу ее», — гро- зил Бетховен. Но убить судьбу — это тоже судьба. Вверяться судьбе — значит

¹ См.: *Босенко А. В.* Время страстей человеческих: Напрасная книга. — К., 2005, которая про- изошла из: *Босенко А. В.* О другом: Симуляция пространств культуры. — К., 1996.

² *Бланишо М.* Ожидание, забвение // *Бланишо М.* Полн. собр. малой прозы. — С. 471.

³ *Бланишо М.* Безмятежная тревога ожидания // *Бланишо М.* Полн. собр. малой прозы. — С. 468.

изменять себе. Убить судьбу, не отрекаясь — это тоже судьба... или не судьба. Смирение и покорность — предательство.

А поработить и принудить ее нельзя, поскольку она — свобода, «фурия исчезновения», и она уходит в основание твоей деятельности, совпадающей со всеобщим развитием, *Actus purus* — чистая деятельность, то есть, осуществленность, не включающая ни незавершенности, никакой потенциальности, самождественность чистого бытия, которое мыслит само себя. Таково схоластическое определение Бога, в превосходящем смысле трансцендирующего свое значение как невыразимое.

Но речь о действительном человеческом абсолютном творении из ничего. Поэтому, помимо позора от сознания предательства, которое ты не совершал, но причастен к нему, есть острое чувство времени, когда испытываешь жажду не только утраченного воображения в его дальнейшем, развитии за рассудок, вплоть до необретенных человеческих чувств, или чувств тех, которые умирают у тебя на глазах, но и в развоображении, девоображении, контрвоображении, невообразимом преображении, то есть, в действительном чистом движении, которое не шарахается от возвышенного и прекрасного, прекрасно понимая, что это не выход. Это исход во имя красоты, когда прекрасное, как путь и восстание против красоты, исчезает. «Во имя» означает буквально «во внутрь имени погруженность». То есть, исповедуя идею красоты, идею любви, истины, мы разглашаем тайну, в которую не посвящены, а которая открылась случайно, но тем самым отдаем идею на поругание. Для того, чтобы пребывать, погружаться, нет, не в Истину красоты, а только в истину имени. Того имени, которое совпадает с сутью. Это не философия имени, а просто тоска по тому, что мы уже не застигнем при жизни. От идеи не убудет, но убудет от нас, когда исчезающим бытием, нестачей прибывает отработанное время, как подпочвенные воды, подтапливая низины отравой и затхлостью повседневной бытовой рутины. Ни о какой свободе речи быть не может, только молчание и страсть, и те случайны¹.

¹ У Канта понятие опыта совпадает с природой: «...природа и возможный опыт — совершенно одно и то же. Таким образом только причинность обладает свободой. Свобода причинности обуславливает бытие случая, и лишь он отвечает формальным критериям истинности: 1. закон противоречия; 2. закон достаточного (остаточного. — А. Б.) основания. Первым определяется логически возможное

Уместно, хотя этой проблеме — не место, заметить, что и здесь своеобразие перевода вносит путаницу, поскольку речь идет о принципах, которые, как известно, «в конце». (Иногда складывается впечатление, что русская философия, хотя философия национальности не имеет, ведет свое происхождение от самоуверенного непонимания, во многом благодаря ошибкам перевода, но это не так, поскольку грезы переводчиков на другой язык во многом потенциально превышают источник) Поэтому закон закончен, он узаконен, бесконечен в своей законченности. Невозможно отменить закон сохранения энергии или закон всемирного тяготения, но можно изменить «принципам красоты». Законы развития, в отличие от принципов, нельзя обойти (впрочем, можно отказаться от развития, от истории, выбрав формальное разложение. Свобода зла возможна, но не действительна, зло реально, но, в сущности, опровергнуто собой, тем, что оно знает себя. Зло всегда определяется свободой выбора, но свобода чего бы то ни было в качестве предиката или определения, пусть самоопределения, никакого отношения к свободе не имеет. Экзистенциализм, копошащийся в бессмысленном существовании, никогда не допустит возможности свободы, вернее, возможность охотно допускает, но действительность свободы — никогда. Он удерживает свободу от разрешения, поскольку этим она лишает его пространства в противоречии сущности и существования, устраняя проблему, как ложно поставленную. Нечто подобное уже было у картезианцев, когда решалась проблема «каким образом мышление присоединяется к протяженности» которую, походя, решил Спиноза, просто изменив про-

знание, вторым логически действительное знание». Парадоксально, но чувственное — как способность восприимчивости, а рассудок как способность спонтанности. Это позволяет Канту избавиться от назойливой «теологии черепицы» или кирпича обыденного сознания (которое понимает случайность и причину на уровне очень живучего анекдота: «Ползут два кирпича по крыше. Один говорит: — Что-то погода не летная. Другой: — Ничего, лишь бы человек был хороший») и приструнить случайность, как будто на нее можно цыкнуть. И развести необходимость и неизбежность. Неизбежность и необходимость — не одно и то же. Все это, следуя принципам рассудка, который вслепую, наощупь, следуя только опыту, устанавливает свои законы, когда ему предстоит уже уходить. 1. Закон противоречия и тождества (*principium contradictionis identitatis*). 2. Закон достаточного основания (*principium rationis sufficientis*). 3. Закон исключенного третьего (*principium exclusi medii inter quo contradictoris*).

блему, как неверно поставленную, рассматривая мышление и протяженность атрибутами одной субстанции, а не различными сущностями. Так и здесь, наконец-то дошло, что сущность и существование — не различные сущности, между которыми что-то происходит в промежности. Случайных связей сколько угодно, все не перепишешь и в типологию не загонишь, и это не единый процесс, который так и хочется объявить диалектическим, просто — внешнее противоречие, которое не может быть доведено до разрешения, потому, что оно формальное. Бергсону приписывают афоризм: «У каждого философа две философии: своя и Спинозы». Как бы там ни было, «уставшие» от навязчивого картезианства французы, выработавшие эту золотую жилу до пустой породы, усиленно начинают третировать Спинозу, правда, уже не «как мертвую собаку», а назойливым почитанием.

Иначе ему придется исчезнуть. Поэтому он копошится в абсурдированном искусственном формальном противоречии сущности, в существовании, культивируя его как проблему и кормясь подножным кормом, выросшем на пустом месте, которое, как известно, пусто не бывает. То же можно сказать и о временных противопоставлениях мышления и протяженности, красоты и прекрасного, добра и зла в метафизическом разделении на самостоятельные «сущности», и даже о противопоставлении Духа и материи, хотя говорить об этом преждевременно. Им невозможно пренебречь, но, действуя законосообразно, нужно использовать для развития. А принципы — их можно предать, и освободиться, сославшись уже не на хитрость разума, а на иезуитскую хитрость желания, которому уступают, приводя железные аргументы: «ad hominim» и с облегчением радостно воспринятый «конец истории», хотя отмененная историчность никуда не исчезает, если ее вдруг объявить несуществующей. Но служит большим утешением для *bürgerlichkeit* — мещан, получающих взамен любви различные модификации, вроде издревле известной Агапе, «каритас» — сострадательной любви-жалости жертвенных причин, или Эроса — любви-страсти (хотя бы это есть в безжалостном мире), хотя «харис» — «сострадание» по Эмпедоклу — подобие органа и его ощущения с сознанием. «И, ради бога, не надо другого», в том числе и человека. Другого не дано, а если и дано, то только как «привходящая навязанная форма в виде кармы — жребия» (который, безусловно, жалкий).

Этого вполне достаточно для объяснении примитивного мира, когда

знают чувственное, но понятия не имеют о чувствах (причем это справедливо и для всей современной западной философии, которая не сподобилась обозначить разность чувственного и чувств в понятии, — просто слов таких нет, — обойдась без оных и не различая прекрасное и красоту), они не выводятся аналогически, но ниспадают в мир, предшествуя опыту и переосуществляя его, возвышая до прекрасного и превращая в него, которое в состоянии только разрушить и воспринимать негативно.

При этом чувства вплетены в общественную форму движения и являются тотальными атрибутами и конечной целью, то есть непосредственной и необходимой практикой, обладая страстью стать свободными, иногда вполне по-современному избавляясь от человека и пытаясь избавиться от себя, так, что «конец всего сущего таким образом (а образ всегда триедин и даже четвероук, на самом деле он неисчислим и в своем определении апофатичен, пытаюсь от ничто, он сквозной. — А. Б.) тройкого рода: 1. естественный, соответствующий моральным целям божественной мудрости, и следовательно, доступный (в практическом отношении) нашему правильному пониманию (вспоминается анекдот о сообразительности применительно к рассудку, упершемуся в себя. Единственное, что он может сделать разумно — это разрушить свои собственные установления в мелком локальном катаклизме. — А. Б.); 2. мистический (сверхъестественный) конец под воздействием причин, нашему пониманию недоступных; 3. противоестественный (извращенный) конец всего сущего, который мы вызовем сами вследствие неудавшегося понимания нами конкретной цели». Что мы и наблюдаем сейчас, с той только разницей, что происходит предательство целей, идеалов, и отказ от них вообще, и происходит не вынужденно, а добровольно (не скажу свободно).

В сущности — отречение от исторического процесса, поскольку и идеал, и цель теряют процессивность и становятся застывшими догмами юридического прецедента процессуальности по делу о свободе. Это ничего не доказывает и ничего не значит. Просто так случилось, и отпрянуть от этой бездны невозможно, — упора нет, — как невозможно и броситься в пустоту, — она может звать и манить, но нет притяжения. Энтропия. Я потому и обращаюсь столь вольно с теоретическими выводами Канта, что невозможно знать, что на самом деле он подразумевал под своими совершенно недоказуемыми декларациями. Это тот произвольный случай, когда заведомо неверные пред-

посылки вызывают верные решения, и наоборот. Упомянутая рефреном энергия заблуждения.

С тем же успехом можно обратиться к любому фрагменту истории философии, и он послушно пойдет на поводу и подтвердит что угодно, тем более, если истина отказалась от каких-либо критериев. Она провозглашается таковой, хотя бы вся практика противостояла истинной лжи в качестве критерия. Нет, та истина, которая по-прежнему процесс, как и история, существуют, несмотря на попытки торжественно схоронить и построить очередной мемориал, но в жизни обывателя это не играет никакой роли, нет таких аргументов, которые могут его переубедить и избавить от суеверия очевидного. К сожалению, то, что понимается под диалектикой, следует все той же формальной логике, вполне достаточной для коллапсирующего мышления, искусства и вообще бытия, которое предпочитает не быть, в небытии, в существовании, в сиюминутности усматривающего свою истинность и случайную свободу, вплоть до провозглашения смерти как истины в последней инстанции. Ложные послышки приводят к неопровержимым, как смерть, выводам бытия-к-смерти и идеологии смерти. Завороженные тезисом «все, что возникает, заслуживает гибели», упускают из виду, что в этом случае диалектика, хотя бы как способ мышления, не только не необходима, но и не становится. Она просто не присуща состоянию, когда нет развития. Ей неоткуда возникнуть. Есть пустота, а не ничто. И тем более — не бытие-ничто. Пусть даже мы осознаем, что рассудок формируется по диалектическим законам. Без определенного способа дела они мертвы и представляют пустые фразы. Чистую риторику, сколь бы остроумно не оправдывали ее современники, «фетишисты систематической репрезентации» (М. Хоркхаймер), балующиеся философствованием.

И обращение В. Беньямина, и его утверждение, что «преобразование предметности в истинность» есть «новое рождение, в котором вся эфемерная красота полностью исчезает, а произведение утверждается как руина», оказывается пророческим и пустым, хоть высокопарно повторяй, не помню за кем: «Человек — это руина Бога», смысла не прибавится. Фрагменты, руины предметности и их исчезновение обретают истинность в исчезновении, агонии прошлого бытия и посмертно. Можно, конечно, — было бы желание, — усматривать в распылении предметности освобождение от форм наличного бытия и освобождение действительного становления, но это становление — посмертно,

стремясь избавиться от времени, не в восхождении в вечность, а в нисхождении к мгновению. Миг на мгновение можно воспламенить тем, что «мгновение — конец чувственного мира и начало интеллигибельного» (Кант), и это воспринимается как рациональное чудо, а становления как эманация — ничто. Но тогда придется декларировать, что «мы живем в лучшем из миров» и не рыпаться, смиренно признавая вслед за Вольтером «Пусть мое слабоумие остается при мне», причем как ведущая сущностная страсть эпохи. Никаким «трансгуманизмом» и прочими ухищрениями, хитростью разума этот прискорбный факт не затушевать.

Когда понимаешь, что не наступила еще пора, нет оснований, нет условий, тогда твое действие «как если бы» обретает значение безусловного, и действительность становится абсолютным, превышающим все возможные возможности. Ты (эта деятельная изнанка «Я», потому что, когда есть действие, «Я» исчезает или действует для другого, со стороны) действуешь в невозможном и невозможным образом, когда нет ставшего — все едино и ты сам неотличим от этого движения в самозабвении.

Философия — анахронизм и предвосхищение. Погруженность во время, которое от нее отказывается, выталкивает, отрекается. Экзегеза — истолкование текстов (сакральных), здесь философия обречена быть экзегезой бытия, хотя роль секретаря-референта по общим вопросам при жизни она переросла. Она — не Generator of diversity, Генератор разнообразия, но непосредственное чувство утраты. Ее зрение застит всепобеждающая смерть. И счастье в том, что вместо всеведения — ничего не ведомо. Философия превращается в Архэ-тектонику. Но она даже мерой движения не является, только обозначает себя таковой, мерой является предел, причем преодоленный. «Мера превышающая, недостающая, менее того, мерой чего она является»¹. И тогда складывается, как сейчас, странное положение, когда все равно, куда идти в истории философии, всюду своим движением наталкиваешься на ответы, вполне соответствующие траектории. Куда не ткнешь — попадешь, даже листать не стоит. Ход-ответ. Вопросов больше нет, спрашивать не о чем, потому, что все вернулось в первозданное неведение.

Стремительное движение тектонических пластов времени ничего не зна-

¹ Кант И. Собр. соч.: В 6 т. — Т. 2. — С. 96–97.

чит. Смысл только в стремлении. Известен исток и устье. А как это скомкается жизнью, какую конфигурацию примет пустота — неведомо. Я хорошо усвоил, что пафос и патос пишутся одинаково, однако это слово означает еще удивление, это — то самое аристотелевское (приписываемое Аристотелю) удивление, с которого философия начинается и кончается. Хотя удивляться нечему, способность остается. Мир больше не удивителен, он омерзителен. Только старикам, взамен обещанной мудрости, удается сохранить пристальное внимание к мелочам и тихое удивление малости, но это принимается за старческие причуды. Жаль, что к старости некоторые учатся любить жизнь, хотя уже поздно. Но любовь вполне заменяет удивление до беспамятства. Сомнение — да, все, что ни происходит — да, но только не предательство и сопутствующие подлость, пошлость. Это, к сожалению, у многих — не осознанное решение. Но это уже влечение свободой, которому противятся изо всех сил, в надежде, что ее можно избежать, отказываясь от жизни. Переждать время предателей не получится. Хотя, если смеяться, то скоротать век-другой можно. Параноидальная способность всюду видеть предательство тоже смешна. Паранормальное явление эпохи. Это демонстрирует хорошая КВНовская шутка: «Птицы улетели на юг... Предатели». Но существовать во времени всеобщего вранья, предательства и воровства действительно гнусно. Единственное утешение — то, что и они — не настоящие, а реквизит заигравшейся эпохи. Имитация.

Напрасность и повальная провальность таких текстов очевидна, и наводит тоску своей неизбывностью. Старческим брюзжанием. Прав Мандельштам: «Отвлеченные понятия в конце исторической эпохи всегда воняют тухлой рыбой». История сканала, а новая эпоха не началась. Скучно, но ведь тема-то какая. Не просто бесперспективная, а отстойная.

Можно только с уверенностью сказать: «Все образуется». Но без меня.

Анотація. Стаття присвячена проблемі зради як способу буття сучасного часу. Простір зради перевтілює все, фарбуючи в сірий захисний колір повсякденності. Геніальність і талант в такі часи неможливі, оскільки бездарність, як і вони, об'єктивна. Про підмурки здолаття кордонів безталанного часу та про його випрозорування.

Ключові слова: час, простір, зрада, сутність, випадковість, свобода, почуття тощо.

Аннотация. Статья посвящена проблеме предательства как способу бытия современного времени. Простор предательства переосуществляет все, окрашивая в серый защитный цвет современности. Гениальность и талант в такие времена невозможны, поскольку бездарность, как и они, объективна. Об основаниях преодоления границ беспотанного времени и его опрозрачивании.

Ключевые слова: Время, пространство, предательство, сущность, случайность, свобода, чувства и т. д.

Summary. The article deals with the betrayal as a way of being modern times. Plenty of room betrayal pereosuschestvlyayet all, turning to gray khaki today. Genius and talent at such times are not possible because the lack of talent, as they do, is objective. On the basis of overcoming the boundaries of time and its mediocre oprozrachnivanii.

Keywords: Time, Space, betrayal, nature, chance, freedom, feelings, etc.